

РОМАН ПОПОВ

ПОКА ТЕПЛО

КНИГА ПЕРВАЯ



18+

Роман Попов

Пока тепло

<https://litres.ru/74686788>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Тех, кого помню, я назову. Тех, кого уже не помню, пропущу. Простите меня».

Осенью 2027-го в Иркутске отключают свет, потом воду, потом связь. По телевизору до последнего говорят, что угрозы нет. А во дворах уже стоят Пустые — соседи, продавщицы, чьи-то отцы и матери. Стоят неподвижно, лицом в одну точку.

Потом они начинают двигаться.

Ломятся в подъезды. Лезут друг по другу в окна. Скребнут ногтями в двери до рассвета. Вцепляются зубами в любого, кто живой и рядом. И каждый укушенный рано или поздно встаёт рядом с ними.

Курьеру Артёму двадцать два, и он падает в обморок от вида крови. Ему придётся провести свою семью через город, в котором живых с каждой ночью всё меньше. И уберечь их — пока тепло.

Содержание

Пролог	5
Часть 1. «Слухи»	7
Глава 1	7
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	32
Глава 5	42
Глава 6	50
Глава 7	59
Глава 8	67
Часть 2. «Дом»	77
Глава 9	77
Глава 10	88
Глава 11	98
Глава 12	108
Глава 13	120
Глава 14	131
Глава 15	140
Конец ознакомительного фрагмента.	148

Роман Попов

Пока тепло

Все события и персонажи вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны.

Пролог

2067 год

Слово «ручка» я вспоминаю не сразу.

Сажу над тетрадью минут десять и смотрю на предмет в пальцах: синий пластик, на конце шарик, внутри кончается паста. Как он называется, я не помню. Потом слово всплывает само, как пузырь в луже: ручка. Ну конечно, ручка. Я выдыхаю так, будто пробежал стометровку, и ворчу на себя вполголоса, по-стариковски, пока никто не слышит.

Мне шестьдесят два. По паспорту. А если посмотреть в зеркало, то лет на восемьдесят, и врач, молодая, с усталыми глазами, с этим даже не спорит. В карточке она пишет «биологический возраст: около восьмидесяти», а потом приписывает что-то ещё, мелко, чтобы я не видел. Я вижу. Я всегда вижу, если пишут про меня.

На улице март, ещё не тепло. В нашем городе, говорят, начали делать первые прививки. Официально об этом не объявляли: врачи боятся пообещать людям лишнее. Верить боюсь, а не верить уже не получается.

Я пишу не для себя: всё это и так стоит у меня перед глазами каждую ночь. Я пишу для тех, кто придёт позже и будет читать об этом в школе. Там, в учебниках, всё будет гладко: даты, цифры, схемы. Там не будет тяжёлого воздуха в подъезде. Не будет скрипа снега под ногами, когда пытаешься ид-

ти бесшумно. Не будет того, как пахли руки человека, который ещё вчера был твоей бабушкой.

Тех, кого помню, я назову. Тех, кого уже не помню, пропущу. Простите меня.

Начну с самого обычного дня. Это важно: потом ничего обычного уже не было, и кто-то должен рассказать, каким оно было, это «обычное».

В тот день я варил суп.

Часть 1. «Слухи»

Глава 1

Просыпаюсь от мусоровоза.

Он ползёт по двору задом, пищит, и каждый раз, когда водитель дёргает рычаг, контейнер ухаёт так, что дрожит стекло. Половина десятого, суббота. Я лежу на спине и смотрю в потолок. В углу осталась жёлтая клякса, похожая на карту какой-то маленькой страны: когда-то там протекла крыша.

Душно: окно открыто с ночи, а воздуха всё равно нет, и простыня прилипла к спине.

Я переворачиваюсь на бок. На подушке мокрое пятно.

Третий месяц я живу один. Это значит: однушка на пятом этаже хрущёвки без лифта на Лермонтова, обои в мелкий цветочек, холодильник «Бирюса» с характером и хозяйка Тамара Ивановна, которая звонит каждое второе воскресенье и спрашивает, не топлю ли я соседей. Я никого не топлю. Я вообще стараюсь жить тихо, как будто меня здесь нет. Родителям на днях сказал, что у меня всё отлично и я нормально ем. Это была правда процентов на шестьдесят.

Встаю. Пол липкий, пятка отдирается с чмоканьем. Иду на кухню, ставлю чайник и, пока он гудит, открываю холодильник. Внутри: открытая банка огурцов, полпачки масла,

кетчуп, два яйца и курица, целая, в плёнке, с ценником магазина у дома. Купил вчера после смены и минут пять стоял перед прилавком, потому что мама сказала в трубку: «Ты бы суп сварил, Тёма. Нормальный, горячий». А я ответил: «Да я и варю». Я никогда не варил суп.

Теперь надо.

Достаю курицу, кладу в раковину и стою над ней, как над неразорвавшейся бомбой. Она холодная, скользкая, чуть липнет к пальцам. Ладно, что я знаю про суп? Вода, курица, картошка, морковь, лук, соль. Может, ещё лавровый лист, но листа у меня нет, зато есть какая-то приправа в стеклянной банке, оставшаяся от прежних жильцов. Тоже сойдёт.

Телефон вибрирует на столе. «Мама».

— Ты проснулся? — спрашивает она вместо «привет».

— Проснулся.

— А что так тихо? Ты ел?

— Ещё нет, — говорю я, глядя на курицу. — Мам, я как раз собирался.

— Что собирался?

— Ну, завтракать.

— Яичницу?

— Да.

Она молчит. Я слышу, как у неё на фоне что-то гремит, наверное, кастрюля, и как отец говорит ей что-то короткое, не разобрать. Мама у меня из тех, кто в тишине слышит больше, чем в крике.

— Продукты для супа купил? — говорит она. — Курицу?

— Мам.

— Я просто спрашиваю. Если купил курицу, бульон надо сначала довести до кипения и пену снять. Ложкой. А то будет мутный. И воду не солить сразу, потом посолишь, когда картошка сварится. А лук можно целиком, с шелухой, цвет красивый будет...

— Мам, у меня тут чайник кипит.

— Не кипит. Я бы слышала.

Чайник действительно не кипит, он только начинает шуметь. Но она права, и я зачем-то выключаю его.

— Завтра приезжай, — говорит она. — К обеду. Бабушка пирогов напечёт, с капустой. Она мне вчера звонила, говорит, завтра с утра поставит тесто. Сам понимаешь.

— Приеду.

— И Дашку оторви от телефона, а то она опять до вечера в нём сидит.

— Оторву.

— Целую, — и тут же гудки. Мама не прощается. Она просто обрывает разговор, когда решила, что сказала всё.

Я кладу телефон на стол экраном вниз. Потом всё-таки переворачиваю: вдруг кто-то напишет. Оказывается, уже написала Даша, как всегда, сразу тремя сообщениями:

мама спросила, есть ли у тебя девушка

я сказала, что нет

правильно?

Ей пятнадцать. Она живёт так, словно в её голове непрерывно идёт комментарий к чужой жизни. Печатаю «правильно», дописываю «а ты откуда знаешь», потом стираю всё и отправляю просто большой палец.

Курица. Да, курица.

Кладу её в кастрюлю, ту самую, большую, эмалированную, с отбитым краем, которую мама отдала мне, когда я съезжал. «Бери, она хорошая, в ней суп вкусно получается». Я тогда кивнул и унёс её в рюкзаке, чувствуя себя дураком. Заливаю водой почти до краёв, ставлю на плиту. Газ синий, ровный. Хорошо, хотя бы газ я включать умею.

Пока вода греется, чищу картошку. Нож у меня один, кухонный, тупой, с чёрной ручкой. Я снимаю кожуру толстыми кусками, вместе с половиной картошки, и из четырёх клубней остаётся что-то размером с два. Ничего. Потом морковь, потом лук.

Лук я режу плохо. Глаза текут так, что приходится отворачиваться. Тупой нож не режет луковицу, а едет по ней, пока не соскальзывает и не входит мне в подушечку большого пальца. Неглубоко. Секунду ничего нет, только чистая белая полоска, а потом из неё выступает красная капля. Потом вторая, они сливаются и ползут вниз к ладони.

И вот тут у меня внутри всё проваливается.

Знаю, как это выглядит: мне двадцать два, я здоровый мужик ростом метр восемьдесят шесть, два года таскал мебель на подработках. Но у меня в глазах темнеет, с краёв, как бы-

вает перед обмороком, и во рту появляется вкус, будто я лизнул монетку. Я роняю нож в раковину и хватаюсь за край стола. Дышу носом: раз, два, три.

Кровь капает на кафель: одна капля, вторая. Я смотрю на них, хотя смотреть не надо, и в голове почему-то стучит, что нужна холодная вода, нужен бинт, а бинта нет. Есть только пластыри с мультяшными котами, которые Даша подарила мне при переезде «на всякий случай».

Открываю кран и сую палец под холодную струю. Вода становится розовой, потом прозрачной. Я заставляю себя смотреть, как она течёт. Через минуту темнота отступает. Через две — руки перестают дрожать.

Эта история у меня с детства. Мне было шесть, я упал с велосипеда и разбил колено. Бабушка бежала с зелёной, а я, кажется, уже отключался. Потом в школе на уроке ОБЖ, когда показывали, как накладывать жгут, меня вывели в коридор и посадили на подоконник с мокрой тряпкой на лбу. Потом стало реже, как будто с возрастом приучаешь себя не смотреть. Но если застать врасплох, накрывает снова. Врач в поликлинике говорил: «Бывает. Это нервное». Ничего не вылечили, просто назвали.

Заклеиваю палец. Кот на пластыре, кстати, довольно симпатичный, и держится пластырь хорошо.

Возвращаюсь к плите. Вода уже кипит. Из-под крышки лезет пена, серая и мерзкая, похожая на то, что остаётся на тротуаре после грязного дождя. Я вспоминаю: пена, ложкой,

мама говорила. Беру столовую и начинаю снимать, но пена не снимается, а только размазывается, и у меня снова это чувство: я делаю что-то не так, а как правильно, не знаю. Всё-таки снимаю, три ложки, четыре, и выливаю в раковину. Наверное, достаточно.

Кидаю картошку, морковь и лук. Шелуху я уже выбросил, а мама говорила её оставить. Солю сразу, хотя мама говорила, что надо потом, но теперь уже поздно. Беру приправу из банки, нюхаю: пахнет сеном и чем-то цветочным. Сыплю щепотку, потом ещё одну, потому что пахнет приятно.

Сажусь за стол и жду.

В углу кухни стоит старый телевизор. Хозяйка оставила: «Пусть будет, вдруг пригодится». Я включаю его на минимум, чтобы в квартире кто-то говорил. Идёт местный канал, блок новостей. Ведущая в синем пиджаке читает с листа, без выражения, и я улавливаю только куски.

— ...в связи с нештатной ситуацией на научном объекте в северных районах области. Власти заверяют, что угрозы для населения нет. Работы на месте продолжаются...

Дальше про ремонт моста и про дорогу на Листвянку. Я переключаю канал: там мультик, потом сериал про следователей, и я оставляю следователей. Научный объект. Про такое всегда говорят: «нет угрозы». Это как «ничего страшного» у врача: слова ничего не значат.

Через час пробую суп.

Картошка сверху мягкая, а внутри твёрдая, как мел, кури-

ца у кости розовая. Бульон мутный, с жирными пятнами и какими-то травяными крошками, и солёный так, что хочется сразу запить. Я оставляю суп вариться ещё минут на двадцать, а сам жарю яичницу: раз уж соврал маме, надо соответствовать.

Потом наливаю половник супа в тарелку и сажусь у окна. Суп горячий, и пахнет он, пусть странно, домом. Во дворе дети гоняют мяч, кто-то из них орёт «пас, пас, ну пас же!» тоненьким голосом, а старик на скамейке, в панаме, читает газету и никак не реагирует, когда мяч бьётся о скамейку рядом с ним. Лето ещё не сдалось, но держится, кажется, из последних сил.

Суп невкусный, это понятно с первой ложки. Но я доедаю тарелку и наливаю вторую, потому что пироги с капустой будут только завтра, а сегодня есть только это.

Глава 2

Машина у меня отцовская. Отец сам отдал её мне, но по привычке я всё равно называю её отцовской. Серая «Калина» две тысячи одиннадцатого года. Лет пять назад он купил её за копейки у мужика с убитым двигателем, разобрал этот двигатель в гараже по винтику и собрал заново. Потом сказал: «Пока своя не появится». Своя пока не появилась. Каждый раз, когда сажусь за руль, чувствую запах его гаража: бензин, ветошь, что-то железное и холодное. Будто отец сидит на заднем сиденье.

В четыре начинается смена. Я мою посуду, выливаю остатки супа в унитаз (оставлять на завтра рука не поднимается, там уже плёнка жира), пихаю в рюкзак бутылку воды, зарядку и два бутерброда с маслом. Снимаю с гвоздя у двери ключи. Выхожу, и на лестнице пахнет жареной рыбой и чем-то кислым, из-за двери на третьем этаже орёт телевизор. Пятый этаж без лифта — это когда каждый раз, поднимаясь с тяжёлой сумкой, думаешь: надо было снять ниже.

Во дворе старика в панаме уже нет. Мяч валяется в траве, никто за ним не вернулся.

Приложение пицтит, как только я завожу машину. Первый заказ: пицца и две колы, девятиэтажка недалеко от центра, шестой подъезд. Этот дом я знаю. Там домофон, на котором надо жать не «вызов», а «ключ» с зажатой единицей, иначе

он молчит. Давлю ключ, поднимаюсь, звоню в квартиру. Открывает женщина в халате, не здоровается, берёт пакет, суёт мне полтинник. Чаевые. Я говорю «спасибо» уже в закрывающуюся дверь.

Первые два часа всё как обычно. Суши: заказчик с бородой, в наушниках, молча забирает пакет и закрывает дверь. Лекарства из аптеки для бабушки в Академгородке: она сама открывает, маленькая, сухая, в вязаном жилете, и рассказывает про внука в Новосибирске, который уже год не звонит. Я стою с пакетом и не знаю, куда деть руки. Так проходит минут десять. Потом она спохватывается, лезет в кошелёк, вынимает мне двадцатку, и я не хочу брать, но беру. Следующий заказ уже горит красным: опаздываю на семь минут.

В половине седьмого я встаю у торгового центра перекурить. Не курю, просто там стоят ребята из нашей службы, и, если не постоять с ними, ты вроде как не свой. Серёга, рыжий, с вечно обгоревшим носом, сидит на бордюре и листает телефон. Рядом ходит кругами по парковке Лёха-диспетчер. Ему давно пора быть в офисе, но жену утром увезли в роддом, и он места себе не находит.

— Слышал? — говорит Серёга, не поднимая головы.

— Про что?

— Да про станцию. Мой двоюродный брат там на вахте. Вчера успел позвонить, говорит, три дня уже над станцией летают вертолёты, никого не пускают. А потом связь пропала.

— Какую станцию?

— Ну научную, на севере. Там у них то ли мерзлоту изучают, то ли ещё что. — Он поднимает глаза. Они у него светлые, ресницы белые, и от этого вид всегда немного удивлённый. — Говорит, там не просто авария. Говорит, оттуда что-то вырвалось.

— Что?

— Откуда я знаю. — Он пожимает плечами. — Брат пьяный был, когда звонил.

Лёха останавливается и слушает. Потом машет рукой.

— Да ну вас. У меня жена в роддоме, а вы про какую-то ерунду. Сказали же по телевизору: нет угрозы.

— По телевизору всегда так говорят, — отзывается Серёга.

Он прав, я и сам об этом думал днём, когда ел суп. Но вслух не говорю. Допиваю воду из бутылки, она тёплая, с привкусом пластика. Через минуту приложение пищит, и мы все разом тянемся к телефонам, как собаки на свисток.

Заказ: частный сектор, Байкальская. Две упаковки нурофена, пластырь, градусник. В этой части города я ещё не бывал. Навигатор ведёт меня от центра к окраине, где асфальт сперва идёт с заплатами, потом совсем рассыпается, и «Калина» начинает прыгать по ямам, как лодка по волнам. Дома стоят старые, деревянные, с резными наличниками. Многие выкрашены голубой краской, у некоторых она облупилась до серого. Заборы, лавочки, на лавочках никого. Пахнет дымом

и скошенной травой.

Нужный дом: зелёная калитка, на ней жестяной почтовый ящик, на ящике нарисована ромашка. Я стучу. Через минуту из-за забора выглядывает женщина лет шестидесяти, в платке, с вилами в руке. Вилы она держит не как оружие, а как человек, не успевший их убрать. Но смотрит так, будто готова пустить их в ход.

— Курьер, — говорю я. — Ваш заказ. Аптека.

— А, — она выдыхает. Вилы опускаются. — Да, да, заходите. Простите! Господи, боже мой, нервы!

Я иду за ней по тропинке между грядок. Помидоры у неё подвязаны к кольям, во дворе сохнет бельё, у крыльца спит рыжий кот и даже не шевелится, когда мы проходим мимо. Она берёт пакет, роется в нём, достаёт градусник и поднимает его к свету.

— Это для внучки, — говорит. — У неё температура. Вторые сутки.

— Выздоровливайте.

— Спасибо, спасибо. — И вдруг, понизив голос, она добавляет: — Слушай, милый, ты же по городу ездешь. Ты там ничего странного не видел?

Я хочу сказать «нет». Просто «нет», как положено. Но она смотрит так, что слова застревают.

— Ну... люди нервничают. А что?

— Там Витька. — Она кивает в сторону улицы. — Через восемь домов живёт, одинокий, жена умерла, сын в Москве.

Вышел во двор и стоит. Три часа уже.

— Стоит?

— Стоит. К стене лицом. Я окликала, не отзывается. Я уж думала, сердце. Был бы пьющий, я бы и не всполошилась, а он как жену схоронил, ни капли в рот не берёт. Вызвала скорую, а диспетчерша ничего не спросила даже, только: приедем, ждите. А когда приедут-то? Я уже третий раз звоню. — Она моргает, и вилы в её руках опять поднимаются сантиметров на пять. — Ты бы посмотрел. Ты молодой, здоровый.

Я не хочу: меня сразу тянет к калитке, к машине, к следующему заказу. Но есть в этом «ты молодой, здоровый» что-то, что не оставляет мне выбора. Я не умею отказывать, когда меня так просят.

— Ладно, — говорю. — Где?

Она показывает.

Его дом дальше по улице, ближе к её концу. Участок с покосившимся забором, внутри двор, заросший лебедой. И в углу двора, у кирпичной стены сарая, стоит человек.

Он высокий, худой, лет пятидесяти. Футболка серая, на груди тёмное пятно, как будто он пролил на себя чай, колени у штанов вымазаны землёй. Стоит спиной ко мне, лицом к стене. Руки висят вдоль тела, пальцы чуть согнуты, голова слегка наклонена вправо. Он не двигается. Совсем не двигается. Только ветер шевелит редкие волосы на затылке.

— Эй, — говорю я через забор. — Мужчина!

Ничего.

Я кладу руку на калитку: она не заперта и скрипит. Вхожу, трава мягко шуршит под кроссовками. Пахнет сухой землёй и ещё чем-то, не мочой и не перегаром, а пресным, нежилым духом, как в комнате, где давно не открывали окна.

— Виктор! — Пробую полное имя. — Виктор, вам плохо?

Он не оборачивается. Я подхожу ближе, шагов на пять. Теперь вижу, что пятно на футболке не от чая: оно бурое, засохшее, шире, чем показалось. Я отвожу глаза: мне не нужно на это смотреть. Сердце бьётся о рёбра чуть быстрее, чем должно.

— Виктор, — говорю громче. — Скорая едет. Вы меня слышите?

И он поворачивает голову.

Не сразу, медленно, как на плохо смазанных петлях. Сначала одно плечо, потом шея, потом лицо, обычное, небритое, с впалыми щеками, с морщиной между бровей. Только глаза смотрят не на меня, а куда-то мимо, в точку чуть левее моего уха, и в них нет ничего. Ни злости, ни страха, ни мути. Пустота, как в окне квартиры, из которой выехали жильцы.

Он открывает рот, и я жду слов. Он стоит с открытым ртом секунды три-четыре, потом закрывает его, будто забыл, зачем открывал. И снова смотрит в стену.

— Нормально? — спрашивает соседка из-за моей спины, и я вздрагиваю всем телом. — Живой?

— Живой, — говорю. — Дышит.

— Пьяный?

— Не знаю. Вроде нет. Запаха нет.

Она крестится, быстро, мелко, и вилы в её руке дрожат. Мы стоим и смотрим на человека, который смотрит на кирпичи. Где-то за забором лает собака, потом замолкает. Я понимаю, что надо что-то делать, что-то обычное: посадить его, дать воды. Но не могу заставить себя подойти ближе, потому что в этой неподвижности есть что-то, чему я не могу подобрать названия. Не болезнь. Хуже. Отсутствие.

— Я позвоню ещё раз в скорую, — говорю. — Скажу, что он не реагирует. Что это срочно.

— Скажи, милый. Скажи. А то Витька-то, он ведь добрый, мухи не обидит. Что же это с ним...

Я звоню — занято. Звоню снова. Женский голос, усталый, скучный, отвечает на четвёртый раз, записывает адрес и говорит, что бригада приедет «по мере освобождения». Я прошу уточнить, когда. «По мере освобождения». Я благодарю её, хотя не за что.

Уезжаю через двадцать минут. Соседка суёт мне деньги, я отказываюсь, она всё равно впихивает мне в карман сотню. Я не помню, как сажусь в машину. Помню только, что руки сперва плохо слушаются, а потом вдруг становятся слишком аккуратными: я еду по Байкальской почти ползком, объезжая каждую яму.

Остаток смены тянется, как варёная резина. Пицца, цветы, снова пицца. Я делаю всё правильно: подъезд, звонок, «добрый вечер, ваш заказ», улыбка на двенадцать процен-

тов. Только каждый раз, когда кто-то стоит у стены или у окна и не двигается, я присматриваюсь. Один раз это оказывается просто парень, ждущий такси. Другой раз — девушка, глядящая в телефон. Нормально. Нормально.

К полуночи холодает, а куртку я не взял. Я возвращаюсь домой, ставлю «Калину» под окнами, поднимаюсь. На лестничной клетке пахнет уже не рыбой, а чьим-то чаем. Открываю дверь, сбрасываю кроссовки, не включая свет, подхожу к окну.

Двор тёмный, фонарь горит один из трёх. Мяч так и лежит в траве.

Я стою и смотрю в окно ровно столько, сколько нужно, чтобы убедиться: никого там нет. Ложусь спать только после того, как проверяю, что дверь закрыта на оба замка.

Глава 3

Подъезд родителей пахнет жареным луком и капустой уже с первого этажа. К третьему этажу к ним добавляется запах теста, тёплый, дрожжевой, и ноги сами начинают идти быстрее.

Дверь открывает Даша. Наушники на шее, телефон в руке, волосы наспех собраны в хвост, одна прядь торчит вбок.

— О, шеф-повар пришёл, — говорит она. — Как суп?

— Откуда ты знаешь про суп?

— Мама сказала. Мама рассказала всем. Папа уже два раза спрашивал, не отравился ли ты.

— Папа не спрашивал.

— Папа посмотрел на маму вот так, — она сводит брови и упирается взглядом в потолок, — и всё стало ясно.

Лицо у неё получается очень похожим на отцовское, и я смеюсь, хотя собирался обидеться.

— Суп был нормальный.

— У тебя левый глаз дёргается, когда врёшь. — Она отступает в сторону, пропуская меня. — Проходи, дорогой гость. Сейчас тебя будут откармливать.

В прихожей стоят бабушкины ботики, аккуратно, носок к носку. Отцовских ботинок нет. Я разуваюсь и иду на кухню.

Кухня у нас маленькая, и сейчас она набита людьми, посудой и паром. Мама стоит спиной ко мне у плиты и что-

то размешивает в кастрюле. Оборачивается, вытирает руки о фартук, подходит, целует меня в щёку и тут же отстраняется, чтобы разглядеть.

— Похудел.

— Мам, я вешу столько же, сколько в июне.

— Похудел. Руки мой.

Спорить бесполезно, я мою руки.

Бабушка сидит за столом. Валентина Фёдоровна, мамина мама, маленькая, круглолицая, в старом халате в мелкий горошек и в белом платке, завязанном под подбородком. Перед ней доска, гора теста и миска с начинкой. Правой рукой она лепит пирожки: быстро, щипком, как будто шьёт. Левая лежит на колене, забинтованная от кисти до локтя.

— Артёмка! Иди сюда, дай погляжу.

Я подхожу, и она берёт меня за подбородок. Пальцы у неё сухие, пахнут мукой и луком. Она разглядывает меня, как товар на рынке.

— Вырос.

— Бабуль, мне двадцать два. Я вырос давно.

— Всё равно вырос. — Она отпускает меня. — Садись, сейчас достану первую партию.

Даша плюхается на табурет напротив и тянет шею к доске.

— Ба, а что у тебя с рукой?

— А, ерунда. — Бабушка быстро дёргает рукав халата, закрывая бинт. — О крыжовник ободралась. Куст зарос, а я полезла. Дурная голова ногам покоя не даёт.

— Крыжовник кусается?

— Ещё как. Колючий, зараза.

Мама оборачивается от плиты.

— Мам, покажи.

— Люда, не начинай.

— Я просто посмотрю. Может, к врачу надо.

— Я тебя вырастила, а не ты меня, — спокойно отвечает бабушка и берёт новый кусочек теста. — Какой врач, воскресенье. Обработала, перевязала, всё. Займись лучше своей кастрюлей, у тебя сейчас борщ убежит.

Борщ действительно убегает, мама бросается к плите, а про руку больше никто не спрашивает.

Отец появляется, когда на столе уже стоит всё. Ездил за бабушкой утром, потом, видимо, пропал в гараже: волосы мокрые от умывания, а под ногтями всё равно чёрные полоски. Он молча садится, смотрит на меня.

— Приехал.

— Приехал.

— Диалог года, — шёпотом говорит Даша.

Мама сварила борщ. Подозреваю, что это наглядное пособие к моему вчерашнему супу. Борщ густой, тёмно-красный, с белым пятном сметаны посередине, и я ем его с чувством, близким к стыду. Потом бабушка достаёт из духовки противень. Пирожки румяные, блестят, смазаны яйцом и пахнут так, что Даша кладёт телефон экраном вниз и забывает про него минут на пять.

Потом всё-таки вспоминает.

— Дарья, — говорит мама.

— Я ничего не делаю.

— Телефон.

— Он у меня на коленях. Он просто лежит.

— Светится, — замечает отец, не поднимая глаз от тарелки.

Даша вздыхает и убирает телефон в карман.

Пирожок внутри обжигающий, с капустой и яйцом, тесто тонкое, с хрустящей корочкой снизу. Я съедаю один, потом второй, потом третий. Бабушка смотрит на меня с таким удовольствием, что хочется съесть ещё.

За столом разговор идёт по обычному кругу: кто что делал, кто куда ходил. Бабушка рассказывает про соседей.

— А у соседки нашей, Гали... нет, Любы... — Она морщится. — Как же её, ну, через два дома живёт, с собакой ходит.

— Надя? — подсказывает мама.

— Надя. Конечно, Надя. — Бабушка смеётся над собой первой. — Старость не радость, имя забыла. Так вот, к Наде внука на всё лето привезли, а он ей грядку с морковью вытоптал.

Мама смеётся тоже, чуть дольше, чем нужно.

— Ба, а Пётр Семёныч как? — спрашивает Даша. — Ты же всё время про него рассказываешь.

— Петя-то? — Лицо у бабушки становится строгим и

тёплым одновременно. — Упрямый как баран. Детей у него двое, оба далеко, звонят по праздникам. Я ему говорю: возьми палку, нога же не держит. А он: «Мне палка не нужна, я не старик». Ну и пошёл в магазин сам, а там ступеньки. Упал, колено ободрал в кровь. Какой-то молодой парень подбежал, поднял, перевязал ему колено платком.

— Каким платком?

— Своим. Клетчатым. Петя пришёл домой, а платок так и остался на колене. Я ему колено промыла, перевязала нормально, а платок застирала в холодной, как положено, потом с мылом, потом прокипяттила даже. Не отстирывается, пятна ржавые остались. Куда его теперь девать?

— Выбрось, — говорит мама.

— Чужой же.

— Хозяин придёт, спросит, — предполагает Даша.

— Какой хозяин. Петя говорит, у парня самого рука была замотана тряпкой, тоже, видно, поранился. Лицо бледное. Петя ему: «Сынок, тебе бы к врачу». А тот улыбнулся и пошёл дальше.

— Мам, ты к нему опять ходишь? — спрашивает мама и отодвигает тарелку. — Он ведь...

— А кто к нему ходить будет? — перебивает бабушка. — Ты? Я просто суп отнесла. Ничего страшного.

Отец за обедом почти молчит. Только один раз поднимает глаза, когда мама спрашивает:

— Лёш, ты слышал про станцию?

— Слышал.

— И что?

— Ничего. Не знаю.

— Что значит «не знаю»?

— То и значит. — Он берёт ещё пирожок. — Ешь, Люда.

Даша переводит взгляд с отца на маму, потом на меня и впервые за весь обед молчит. Я смотрю на отца. Хочу рассказать про Виктора у стены, про вилы, про «по мере освобождения». Потом смотрю на стол: пирожки, бабушкины руки, Дашка со вторым куском в зубах. Слова не складываются. Потом расскажу. Наверное.

После чая отец встаёт и говорит:

— Тёма, пойдём. Покажу кое-что.

— Куда?

— В гараж. «Калину» бери.

Мы выходим во двор. Он садится на пассажирское сиденье, застёгивает ремень, складывает руки на груди и всю дорогу молчит, глядя прямо перед собой. Только правая нога у него иногда сама собой уходит вперёд, как будто он давит на невидимый тормоз. Я стараюсь ехать так, чтобы нога не двигалась.

Гараж у него в кооперативе, в двух кварталах от дома: ряд железных ворот, когда-то выкрашенных в зелёный, а теперь облупившихся до цвета ржавчины. Замок упрямый, открывается, только если нажать на него правильно, и отец делает это, не глядя, одним движением. Ворота скрипят, я заезжаю.

Внутри пахнет бензином, ветошью и холодным железом, тем самым запахом, который стоит у меня в машине. У стены верстак, над ним доска, на которой висит каждый инструмент, и вокруг каждого маркером обведён контур: сразу видно, чего не хватает. Лампочка под потолком в проволочной клетке. Порядок как в операционной.

— Капот, — говорит отец.

Я открываю капот. Он сам достаёт из ящика на верстаке маленькую картонную коробку с новыми свечами и ключ.

— Купил в четверг.

— Мог бы сказать.

— Сейчас говорю. — Он кивает на двигатель. — Ладонь положи.

Я кладу ладонь на металл. Он тёплый, как остывающая чашка.

— Тёплый.

— Вот. На тёплом не меняют. Сорвёшь резьбу, потом придётся снимать головку. Ждём.

Мы стоим у раскрытого капота и ждём. Отец достаёт из кармана замусоленную тряпку и вытирает руки, хотя они чистые.

— Денег хватает?

— Хватает.

— Мать говорит, ты плохо ешь.

— Мать говорит, я похудел.

— Ты не похудел.

— Вот и я говорю.

Он усмехается краем рта, и я чувствую себя так, будто получил пятёрку.

Минут через пятнадцать, когда мы уже обсудили цены на запчасти и соседа по гаражу, он кладёт ладонь на блок двигателя, держит её секунд пять и кивает.

— Теперь можно. Провода снимай по одному. Один снял, свечу поменял, провод на место. Не перепутаешь.

— А если все сразу?

— Тогда будешь вспоминать, какой куда, а мотор потом будет троить. Снимай.

Я берусь за провод и тяну.

— Не за провод, — говорит отец. — За наконечник. Провод порвёшь.

Я перехватываю руку, и наконечник сходит с тихим щелчком. Под ним в гнезде сидит свеча, я надеваю на неё ключ и нажимаю. Сначала ничего, потом резьба поддаётся.

— Не торопись. Крути ровно.

Свеча выходит, и отец берёт её у меня из пальцев, поворачивает к лампочке.

— Видишь? Светлая, чуть коричневая. Это хорошо. Значит, мотор в порядке. Если чёрная или мокрая, надо смотреть, что не так.

— Ты так смотришь, будто я сейчас что-нибудь сломаю.

— Не сломаешь. Просто смотрю. — Он протягивает мне новую свечу. — Вкручивай от руки, ключ не бери. Пока не

пойдёт сама. Если туго, значит, криво. Вынь и сначала.

Свеча входит в гнездо, я начинаю её закручивать, и она не идёт.

— Не дави, — говорит отец и кладёт ладонь поверх моей. Рука у него огромная, тёплая, шершавая, в мозолях и чёрных линиях на костяшках. — Она сама. Вот так, чувствуешь? Теперь пошла.

Свеча идёт. Я докручиваю ключом, он показывает, как нажимать, чтобы не передавить. Надеваю провод, он щёлкает: одна готова. Остальные три мы делаем быстрее, он уже ничего не говорит, только смотрит и иногда кивает. Когда я закрываю капот, у меня ноют пальцы, а в груди тепло, как после хорошего разговора.

— Нормально, — говорит отец. — Сам теперь сможешь.

— Раньше ты меня к двигателю не подпускал.

— Раньше ты всё делал быстро. А тут надо медленно. —

Он вытирает руки о тряпку.

Он закрывает ворота, поворачивает замок и стоит спиной ко мне, глядя на улицу.

— Ты бы по ночам поменьше ездил, — говорит он.

— Работа такая.

— Знаю.

— Пап, ты правда ничего не знаешь про станцию?

— Слухи, — отвечает он. — Мало ли что говорят.

И больше ничего не добавляет.

Когда мы возвращаемся, бабушка уже одета, сумка стоит

у ног, а в руках у неё контейнер, завёрнутый в полотенце.

— Тебе, — говорит она и суёт его мне. — Ешь, а то отошсал.

— Бабуль, я не отошсал.

— Мать твоя так говорит, значит, правда.

Она обнимает меня одной рукой, правой, крепко. Левая висит вдоль тела, из рукава выглядывает край бинта. От бабушки пахнет мукой, луком и чем-то тёплым, детским, чем пахнут только бабушки. Я не отпускаю её секунды на две дольше, чем обычно.

— Ну, всё, всё, — говорит она, хлопая меня по спине. — Задушишь.

Отец везёт её домой на своей машине. Я стою во дворе с контейнером в руках и смотрю, как они выезжают на дорогу. Даша кричит из окна третьего этажа:

— Тёмыч! Если съешь все пироги по дороге, я тебе потом не прощу!

— Не съем!

Съедаю один, ещё не дойдя до «Калины», второй — в машине. Контейнер лежит на пассажирском сиденье, обёрнутый полотенцем, и пахнет так, что в машине больше ничем не пахнет, даже отцовским гаражом.

Глава 4

В понедельник мама звонит в двадцать минут восьмого.

— Ты спишь?

— Уже нет.

— Тёма, запиши. Гречка, рис, сахар, соль, масло подсолнечное, спички. Макароны. Тушёнка, если будет. Воду, только не в маленьких бутылках, а канистрами.

— Мам, подожди. Зачем?

— Затем. Тётя Нина с четвёртого этажа вчера ездила на вокзал, говорит, в магазине у вокзала гречки уже нет. Со всем.

— Тётя Нина ездила на вокзал за гречкой?

— Она ездила за хлебом, а заодно посмотрела. Ты записываешь?

Я включаю громкую связь и записываю в заметки, лёжа на спине. Пальцы сами печатают то, что она диктует, а я думаю о том, что мама сегодня ни разу не спросила, ел ли я.

— Мам, у нас что, война?

— Не война. Просто на всякий случай. — И тут же гудки.

Я лежу и смотрю на жёлтую кляксу на потолке. Потом встаю и иду за гречкой.

Магазин у дома открывается в восемь, но возле него уже стоит человек двадцать. Не очередь, а скорее толпа, которая делает вид, что очередь. Я пристраиваюсь в хвост и слушаю.

— ...а мне сказали, что на север вообще дорогу закрыли.

— Кто сказал?

— Зять мой. Он водитель автобуса, их с рейса развернули.

— У меня соседка в больнице работает, говорит, туда с севера людей возят, но не говорят, что с ними.

— Да что с ними, с похмелья, наверное...

— С похмелья в больницу не возят, Валя.

Дверь открывается. Люди заходят сначала быстро, потом почти бегом, и я, к своему стыду, тоже ускоряю шаг.

Полки с крупами выглядят так, будто по ним прошёл ураган. От гречки остались только ценники и пустые пластиковые держатели. Рис разобран до последней пачки. Сахара нет, соли нет. Подсолнечное масло ещё стоит в ряду, но на каждую бутылку приходится по два человека, и смотрят они друг на друга так, как смотрят на последнее свободное место в маршрутке.

Две пожилые женщины обсуждают что-то шёпотом, но так, что слышит весь ряд:

— Соль надо брать. Соль в любые времена нужна.

— И спички.

— И свечи. Свечи уже раскупили, я вчера видела.

— Какие времена, Зоя? Вы чего?

— Обыкновенные, — отвечает Зоя. — Пока обыкновенные.

Мама просила гречку, но гречки нет. Беру то, что осталось: два пакета перловки, пшено, макароны, десяток банок

консервированной кукурузы, которую никто не берёт, и канистру воды, последнюю на стеллаже. Касса работает медленно. Кассирша, молодая, с усталыми глазами и бейджем «Оля», пробивает мои покупки молча. Когда она берёт канистру, у неё дрожат руки.

— Вы в порядке?

— Да. Девятый день подряд без выходных, людей не хватает. — Она пробует улыбнуться. — Всё хорошо.

На выходе над дверью висит телевизор, там идут новости. Женщина в строгом пиджаке читает с бумажки:

— ...в связи с ситуацией на научном объекте в северных районах области. С двенадцати часов вторника на территории региона вводится режим повышенной готовности. Граждан просят воздержаться от поездок в северные районы. Власти подчёркивают, что угрозы для населения нет...

Передо мной останавливается мужчина в рабочей куртке. Он тоже смотрит на экран и шевелит губами, что-то подсчитывая.

— Завтра с двенадцати, — говорит он вслух, ни к кому не обращаясь. — А сегодня что, не режим?

Режим вводят завтра. Значит, у людей есть ещё сутки.

Пакеты я отвожу родителям до смены. Мама пересчитывает их, как улов, и вздыхает: гречки нет.

Во вторник на работе все разговоры об одном.

В курилке у торгового центра Серёга, рыжий, рассказывает, что вчера один клиент заказал через приложение два-

дцать килограммов сахара. Лёха, диспетчер, у которого родилась дочь (вчера ночью, три шестьсот, пятьдесят два сантиметра, всё как положено), стоит с телефоном и показывает всем одну и ту же фотографию. Он сияет и в то же время смотрит на экран не моргая.

— Поздравляю, — говорю я.

— Спасибо. — Он убирает телефон. — Слушайте, а вы в чат дома заходили? У нас там вообще...

— Что там?

— Все пишут, что вертолёты над городом летают. Военные. На север.

— Я не видел.

— Ты и не смотрел. Я вот смотрел. — Лёха щурится на небо. — Четыре штуки, друг за другом. Низко.

Я тоже поднимаю голову. Небо серое, ровное, пустое. Ни вертолёта, ни самолёта, ни птицы.

В тот день заказов больше, чем обычно. Люди заказывают всё: воду, консервы, лекарства, детское питание, батарейки. Я развожу пакеты по подъездам и вижу в дверях квартир одно и то же выражение лиц, как будто хозяева заранее извиняются за что-то. Мужчина на пятом этаже берёт у меня три упаковки макарон и жмёт мне руку, хотя я просто курьер. Женщина на втором выходит в халате, с котом на руках, и спрашивает, правда ли, что в больницах закончились бинты.

— Не знаю, — отвечаю я.

— Ну да, — говорит она. — Конечно, откуда вам.

Через стекло подъезда я вижу, как по дороге проезжает колонна: зелёные грузовики с тентами, один за другим, чуть больше десятка. Прохожие провожают их глазами и молчат. Что в кузовах, под тентами, не видно.

В среду первого сентября Даша пишет мне в семь утра.

тёмыч

я иду на линейку

мама заплела мне косу, и я похожа на тётю

Через минуту присылает фотографию: она стоит у подъезда в белой рубашке, с косой через плечо, серьёзная, с таким лицом, какое бывает только у человека, который старается не улыбаться. Я смотрю на неё несколько секунд, потом пишу: «Красавица». Потом: «Ты похожа не на тётю, а на директора».

вот спасибо

В обед она присылает ещё одно сообщение, длиннее:

половина класса не пришла

директор сказал речь, и все смотрели в телефоны

Машку мама забрала сразу после линейки

сказала, что в школе небезопасно

а чего небезопасно?

Я не отвечаю. Мне нечего ответить.

Вечером мама снова звонит и просит заехать в магазин рядом с их домом, взять то, что осталось. Я заезжаю в перерыве между заказами, около десяти. Магазин работает до одиннадцати, но на двери уже висит бумажка: «Просьба не остав-

лять детей без присмотра. Охрана просит соблюдать порядок».

Внутри тесно, хотя полки почти пусты. В проходах стоят люди с тележками, у большинства в тележках уже что-то лежит, и они стерегут своё добро от всех подряд. В углу у холодильников две женщины тихо плачут, обнявшись. Откуда-то из дальнего ряда доносится крик ребёнка, потом ещё один. В моей тележке два пакета перловки, макароны и несколько банок консервированной фасоли: всё, что я нашёл.

— Мам, смотри! Рис! — кричит где-то мальчишеский голос.

В конце прохода, на нижней полке, действительно лежит один мешок риса, пятикилограммовый. К нему одновременно тянутся два мужика: один лет сорока, в спортивной куртке, другой помоложе, в кепке. Они хватаются за мешок каждый со своей стороны.

— Я первый увидел.

— Ты вообще откуда взялся?

— Отдай, говорю.

— Сам отдай.

Они тянут мешок, и в какой-то момент он не выдерживает: упаковка рвётся посередине, и белый рис с шорохом высыпается по линолеуму. Звук такой, будто кто-то высыпал на пол ведро песка. Все замирают на секунду.

А потом люди бросаются на пол.

Они опускаются на колени, прямо в грязь от чужих боти-

нок, и ладонями сгребают рис в пакеты, в карманы, в шапки. Две женщины ругаются шёпотом и дёргают друг друга за рукава. Парень в кепке плюёт на пол, но тоже садится и начинает собирать. Мужик в спортивной куртке, который держал мешок, остаётся стоять, и лицо у него растерянное, как у человека, которого только что разбудили.

— Прекратить! — кричит охранник, худой парень лет двадцати, с рацией на груди. — Прекратить немедленно! Я вызываю полицию!

Никто не обращает на него внимания.

Я стою с тележкой посреди прохода и сжимаю ручку так, что белеют костяшки. Что-то в этой картине цепляет меня за горло, и это не жадность и не злость, а беспомощность. Взрослые люди ползают по полу, потому что боятся остаться без еды, хотя ещё неделю назад никому из них и в голову бы не пришло опуститься на колени посреди магазина.

Рядом со мной, опираясь на полку, стоит мужчина лет шестидесяти в старой куртке. Он смотрит на пол так же, как я.

— В девяносто втором так же было, — говорит он. — Я помню. Только тогда хоть знали почему.

Я не знаю, что ему ответить.

Потом я замечаю на полу бабушку, маленькую, седую, с очками, съехавшими на одно ухо. Её кто-то сбил с ног, и она сидит, опираясь на одну руку, а во второй, вытянутой вперёд, зажата горсть мелочи. Она смотрит на монеты так, будто не понимает, что с ними делать.

Я подхожу, подаю ей руку.

— Вставайте. Вы не ушиблись?

— Нет, сынок. — Она поднимается, держась за мою ладонь. Рука у неё тонкая и лёгкая, как птичья лапка. — Спасибо.

— Что вам нужно? Давайте помогу.

— Да мне уже ничего не достанется. Я хотела крупы. — Она смотрит на мою тележку и стыдливо отворачивается. — Ничего, я привыкла.

Я кладу в её тележку один пакет перловки. Она смотрит на него, потом на меня, и глаза у неё становятся влажными.

— Я заплачу.

— Не надо.

— Тогда храни тебя Господь.

Я отвечаю «спасибо» и отхожу, пока она не начала благодарить снова. В моей тележке остаётся один пакет перловки, макароны и банки с фасолью. Мама просила гораздо больше, но я больше ничего не беру: смотреть на пустые полки легче, чем на людей на полу.

Полиция приезжает, когда я уже стою на кассе. Двое полицейских, молодых, с усталыми лицами, ходят по магазину и ни к кому не придираются. Кассирша молча пробивает мои покупки, и мне кажется, что она вот-вот заплачет.

Дома у родителей все уже ждут. Мама в халате расставляет по шкафу то, что я привёз в понедельник: пакеты с крупами, спички, соль. Отец сидит за столом с чашкой остывшего

чая и, кажется, ждёт именно меня. Даша сидит на подоконнике и смотрит в окно.

— Ну что? — спрашивает мама.

— Вот. — Ставлю пакеты на стол. — Гречки нет, риса тоже. Взял, что было. Одну перловку отдал бабушке в магазине.

— Какой бабушке?

— Её сбили с ног.

Мама открывает рот, закрывает и смотрит на отца. Тот чуть заметно кивает.

— Правильно сделал, — говорит он.

— Лёш...

— Правильно, Люда.

Он поднимает на меня глаза. Взгляд короткий, но в нём есть то, чего я раньше не видел: не одобрение, а уважение.

— Я заправил обе машины, — добавляет он как бы между прочим. — Канистра в гараже. На всякий случай.

— Зачем канистра? — спрашивает Даша, не оборачиваясь от окна.

— Просто. Мало ли.

Мама складывает пакеты на нижнюю полку, считает вслух: крупа, макароны, соль, спички, консервы.

— На месяц хватит, — говорит она тихо.

— А чего мы ждём? — спрашивает Даша.

Никто ей не отвечает. Мама закрывает дверцу шкафа и стоит, держась за ручку. Потом говорит:

— Ничего. Просто так спокойнее.

Глава 5

В четверг в обед мне звонит Лёха. Сам, не через приложение.

— Артём, слушай, заказ странный. Берёшь?

— Какой?

— Больница. Приёмное отделение. Двадцать два обеда, вода, кофе и что-нибудь сладкое. Заказала медсестра на всю смену, оплатила вперёд. Все курьеры отказались, говорят, там заразно.

— Что заразно?

— Откуда я знаю. — Голос у него хриплый, а за спиной тонко орёт младенец. — Дочка ночами не спит, я уже третьи сутки нормально не сплю. Берёшь или нет?

— Беру.

— Только маску надень. И руки потом помой. Хорошо?

— Хорошо, пап.

Он смеётся, коротко и устало, и отключается.

В кафе, где собирают заказ, мне выдают три огромных пакета и коробку с кофе. Повар, мужик с красным лицом и в фартуке, кладёт сверху ещё один пакет с булочками.

— Это от нас, — говорит он. — Скажешь, от заведения. Девчонкам там сейчас не до сладкого, но пусть будет.

Я киваю и несу всё в машину.

Больница стоит в стороне от дороги, за металлической

оградой. У ворот будка, из неё выходит охранник, грузный, лет шестидесяти, в куртке и с маской, спущенной на подбородок.

— Куда?

— В приёмное. Доставка. Двадцать два обеда.

— Двадцать два? — Он присвистывает. — Ладно, проезжай. Машину оставь у крыльца и дальше холла не заходи. И, парень... — Он понижает голос. — Ты бы сюда не ходил. Но раз приехал, надень маску. У меня насчёт этого бумага от начальства.

Он протягивает мне маску из коробки на подоконнике будки. Я надеваю её и въезжаю во двор.

Двор забит машинами. Одни стоят криво, другие перегородили проезд, и из некоторых никто не выходит: люди сидят внутри и смотрят на здание. Над главным входом висит объявление, написанное от руки на листе в клетку: «Плановый приём приостановлен». Рядом второе, чуть ниже: «Станция переливания крови временно не принимает доноров. Просим доноров не приходить». Лист прикреплён скотчем, один угол уже отклеился и дрожит на ветру.

Я беру два пакета и коробку с кофе, остальное оставляю в машине. Дверь открывается, и на крыльцо выходит женщина.

Ей лет тридцать, она невысокая, в голубом халате, с волосами, заколотыми так, будто она делала это в темноте. На бейдже написано «Наталья». Глаза красные, а кожа вокруг

них припухла, как бывает у людей, которые долго не спали и плакали.

— Вы курьер? Заходите быстрее, там сквозняк.

— Куда нести?

— Сюда. Давайте кофе.

Она забирает у меня коробку, и мы входим в холл. Здесь пахнет хлоркой и чем-то кислым, как в раздевалке. Вдоль стены тянутся ряды стульев, и на каждом сидит человек. Я не считаю, но их, наверное, человек тридцать: мужчины, женщины, одна пара совсем молодых. Одни держатся за руки, другие смотрят в пол. Для такого количества людей здесь неожиданно тихо. Только телевизор в углу бормочет без звука, и по экрану ползёт строка «Ситуация находится под контролем».

— За стойку, — говорит Наталья. — Там дверь.

Она ведёт меня в комнату с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Из-за стола на меня смотрят две женщины в халатах, у одной в руках планшет. Они не улыбаются, но кивают. Я ставлю пакеты на стол и иду за оставшимся. Когда я возвращаюсь через холл с пакетом булочек, мне навстречу вдруг поднимается молодой мужчина.

Он моего возраста, может, чуть старше, высокий, в футболке с гитарой на груди, волосы всклокочены. Он смотрит на меня так открыто и доверчиво, как смотрят дети, и спрашивает:

— Извините, вы не знаете, где здесь туалет?

— Вон там, — показываю я. — Второй поворот налево.

— Спасибо. — Он улыбается, делает пару шагов и останавливается. — А я здесь давно?

— Не знаю.

— Мне кажется, давно. — Он трёт лоб. — Я что-то сделал не так? Я вроде бы пришёл сам.

Я не знаю, что сказать. К нему подходит Наталья, берёт под локоть.

— Максим, давайте мы вас проводим. Пойдёмте, пойдёмте.

— А, да, — говорит он. — Да, спасибо. Извините.

Они уходят, и я стою посреди холла с булочками в руке. В голове повторяется одно и то же: «Я что-то сделал не так?»

Справа от меня сидит женщина лет тридцати пяти, в светлой куртке, а рядом мужчина, тоже лет тридцати пяти, держит её за руку. Она смотрит на дверь и вдруг говорит спокойным, почти будничным голосом:

— Мне надо забрать Тимура из садика.

— Я уже забрал, Лен, — мягко отвечает мужчина. — Он дома.

— Правда?

— Правда.

— А кто сейчас с ним?

— Бабушка.

— Хорошо. — Она кивает. Пальцы у неё медленно сжимаются на его руке. Проходит секунд тридцать. Она снова

смотрит на дверь, и на лице у неё появляется прежнее, заботливое выражение. — Мне надо забрать Тимура из садика.

Мужчина на секунду закрывает глаза, потом открывает их и говорит так же ровно, как в первый раз:

— Я уже забрал, Лен. Он дома.

Я отворачиваюсь. В холле слишком светло, и мне кажется, что все смотрят на меня, хотя никто не смотрит. Я иду к двери за стойкой, ставлю булочки на стол и стою, не зная, как выйти.

Наталья возвращается через несколько минут. Она садится на край стола, берёт одну булочку, откусывает и тут же откладывает.

— Простите. Я не могу.

— Вы в порядке?

— Да. Нет. — Она смеётся, но смех у неё срывается. — Я здесь четвёртые сутки. Две ночи спала по два часа. Мне нужен хотя бы один человек, который скажет: всё нормально, ты не сходишь с ума.

— Я...

— Вы не обязаны. — Она вытирает глаза тыльной стороной ладони. — Просто послушайте. Первых привезли в понедельник. Двое вахтовиков, с севера. Один не мог вспомнить, как называется город, второй не узнал жену. Мы подумали: перепили, тяжёлое отравление, мало ли. А потом пошли другие. Те, кто жил с ними или работал рядом... — Она запинается. — Это уже не вахтовики. Это жёны, сосе-

ди, друзья. Тот, что в футболке с гитарой, — Максим. Двадцать семь лет. Утром его привёз брат: ночью Максим встал и не смог вспомнить, как зовут собаку. Потом вспомнил. К обеду забыл снова. А заведующая сказала писать в карточке «нервное истощение».

— «Нервное»... — повторяю я.

Это слово я уже слышал не раз, и каждый раз оно значило «мы не знаем».

— Знаю, бред, — говорит Наталья. — Но нам велели писать так, пока не придёт ответ из Москвы. А ответ не приходит.

— И доноров просите не приходить.

— Это не мы решили, приказали сверху. Кровь пока не брать ни у кого. Объяснять не стали. — Наталья смотрит на меня, и в её глазах мелькает что-то, чего я не могу разобрать: то ли страх, то ли вина.

Она замолкает. В соседней комнате кто-то роняет поднос, и на пол с грохотом падает металл. Наталья вздрагивает, но тут же берёт себя в руки.

— Простите. Я вам тут вывалила... Вы же просто принесли еду.

— Нормально.

— Нет, не нормально. — Она встаёт, поправляет волосы. — Спасибо, что приехали. Остальные отказались.

— Мне Лёха сказал, что вы заказали на всю смену.

— Лёха?

— Диспетчер.

— А. — Она устало улыбается. — Тот, у кого дочка родилась? Он мне по телефону рассказывал. Три шестьсот, да? Скажите ему, что я рада.

Я достаю из кармана куртки шоколадку. Она лежит там с самого утра, в смятой обёртке: я собирался съесть её сам, но забыл. Протягиваю.

— Вот. Не бог весть что, но пусть будет.

Наталья смотрит на шоколадку и вдруг смеётся, по-настоящему, до слёз.

— Господи, курьер. Спасибо. — Она берёт её обеими руками, как берут что-то хрупкое. — Вы себя берегите. Хорошо? И... — Она запинаясь. — Позвоните маме. Просто так. Вот сегодня же.

— Позвоню.

— Обещайте.

— Обещаю.

Я выхожу из больницы, не заметив, как миную холл. Охранник у ворот молча кивает мне, и я так же молча киваю в ответ. Сажусь в машину и долго сижу, положив руки на руль, как будто боюсь, что они сейчас начнут дрожать.

Потом достаю телефон и набираю маму.

Она отвечает на втором гудке.

— Тёма? Что случилось?

— Ничего. Просто позвонил.

— Просто?

— Да. Просто.

На том конце повисает пауза. Я слышу, как у неё на фоне работает телевизор, как гремит посуда и как отец что-то спрашивает, а она отвечает ему негромко: «Это Тёма».

— Ты ел? — спрашивает она наконец.

Я смеюсь, и смех выходит каким-то странным, с хрипотцой.

— Ел, мам.

— Правда?

— Правда.

— Что ел?

— Пирожок. С капустой.

— Бабушкин?

— Бабушкин.

— Я думала, ты их все в воскресенье съел.

— Один спрятал.

Она коротко выдыхает, и я понимаю, что она улыбается.

— Приезжай в воскресенье, — говорит она. — Бабушка опять напечёт.

— Приеду.

— Целую. — И гудки.

Я долго сижу с телефоном в руке. Потом включаю зажигание: у меня ещё шесть заказов.

Глава 6

В пятницу утром приложение выдаёт мне заказ, которого я раньше не видел. Адрес: Ангарск. Доставка за город, оплата втрое выше обычной.

Я смотрю на экран и не сразу решаюсь нажать «принять». Потом звонит клиент.

— Это вы курьер? — Женщина, голос тонкий и сбивающийся. — Я Ирина. Мне нужно передать лекарства маме. Она в Ангарске, ей семьдесят три, у неё сердце, а таблетки закончились. Мне самой не поехать, у меня сын, ему полтора года, температура... — Она всхлипывает и тут же извиняется. — Простите. Я заплачу ещё. Сколько надо?

— Не нужно. Диктуйте адрес.

Она диктует. Потом спрашивает:

— А вы доедете? Там ведь, говорят, что-то закрыли.

— Попробую.

Ирина встречает меня на пороге подъезда: бледная, в старой футболке, волосы наспех собраны. Протягивает пакет с коробочками и листок.

— Тут всё. Что и как принимать и адрес я написала на бумажке. Маме звонить бесполезно, она не берёт трубку, она плохо слышит. Отдать надо лично в руки. Её зовут Раиса Захаровна.

— Отдам.

— Спасибо. — Она вдруг касается моего рукава. — Правда, спасибо.

Я киваю и возвращаюсь к машине. Ирина смотрит мне вслед, и по лицу видно, что она ни на что не надеется.

Дорога на Ангарск начинается как обычно: окраина, заправки, вывески. Потом вдруг впереди вырастает хвост машин: он тянется метров на восемьсот и стоит почти неподвижно. Люди вышли из автомобилей и толпятся на обочине: курят, смотрят вперёд, переговариваются вполголоса. Из открытого окна одной машины играет радио, слов не разобрать.

Я паркуюсь и иду пешком. Пакет с лекарствами прижимаю к груди, как будто его могут отобрать.

КПП выглядит так, будто его построили за одну ночь. Бетонные блоки поперёк дороги, в проходе между ними шлагбаум, рядом палатка защитного цвета и грузовик с тентом. На блоках сидят военные в камуфляже, с автоматами. Рядом с ними двое полицейских в светоотражающих жилетах. Никто никуда не торопится, и от этого вся картина выглядит ещё тревожнее.

Над шлагбаумом висит белая растяжка со строгим чёрным шрифтом: «Въезд и выезд ограничены. Возвращайтесь по месту жительства».

— Выезд закрыт! — повторяет в мегафон офицер, молодой, с красными глазами. — Возвращайтесь домой! Граждане, возвращайтесь домой!

— У меня мать там, — раздаётся из толпы мужской голос.

— Мать, понимаете? Одна!

— У всех там кто-то, — устало отвечает офицер.

— Это не ответ!

— Другого нет.

Я проталкиваюсь вперёд. Рядом со мной стоит старик в кепке, он держит в руках клетку с попугаем, накрытую платком. Попугай молчит, только иногда шевелится под тканью, и старик каждый раз шепчет: «Тише, тише, Гоша».

Наконец я упираюсь в цепь из двух солдат. Один из них, совсем молодой, с веснушками на носу, смотрит на меня серьёзно, как человек, который очень старается казаться старше своих лет.

— Назад.

— Мне только лекарства передать. Для пожилой женщины. Она в Ангарске.

— Нельзя.

— Это сердечные. Без них она...

— Я понимаю. — Он смотрит на пакет, потом на меня, и я вижу, как у него сжимается подбородок. — Нельзя. Приказ. Никого и ничего.

— А если не я, а кто-то из ваших?

Он молчит. Потом оглядывается и понижает голос.

— У нас каждый день машина ходит туда. С продуктами. Если командир разрешит... — Он запинается. — Адрес есть?

Я достаю из кармана листок, который дала мне Ирина. Он берёт его, читает, достаёт из кармана ручку и записывает адрес себе на ладонь. Почерк у него неровный, торопливый.

— Раиса Захаровна, — повторяет он вслух. — Я не обещаю, брат. Но попробую.

— Спасибо.

— Не благодарите. — Он забирает у меня пакет и прячет за пазуху. — Идите, не стойте. Сейчас остальные полезут.

Я отхожу на несколько шагов, оборачиваюсь. Он стоит спиной ко мне, рука с адресом сжата в кулак, и плечи у него напряжены так, как бывает, когда человек очень не хочет, чтобы его видели растерянным.

На обратном пути меня догоняет женщина в ярком платке и суёт мне в руку листок.

— Возьмите. Раздают вон там.

Это памятка, напечатанная в спешке на обычной бумаге, с ошибками в нескольких словах. Я читаю на ходу:

«ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ. В связи с режимом повышенной готовности: 1. Не покидайте место жительства без необходимости. 2. Избегайте скоплений людей. 3. При обнаружении у себя или у близких нарушений памяти, дезориентации, спутанности сознания обратитесь по телефону 112. Не пытайтесь оказывать помощь самостоятельно. 4. Следите за официальными сообщениями».

Я перечитываю третий пункт. «Нарушения памяти». Эти слова стоят в документе спокойно, как «температура» или

«кашель», и от этого у меня внутри что-то переворачивается. Значит, в городе уже знают, что люди забывают. Значит, это не слух.

Ирине я звоню из машины.

— Не прошёл. — Голос у меня звучит хуже, чем я хотел. — Но я отдал пакет солдату. Он обещал передать с машиной, которая ходит туда каждый день. Записал адрес.

На том конце тишина. Потом я слышу, как она сдавленно выдыхает.

— Спасибо. Спасибо вам. Я хотя бы знаю, что вы пытались.

— Я правда попробовал.

— Я знаю.

Она отключается. Я смотрю на дорогу перед собой и думаю о веснушчатом солдате: даст ли ему командир разрешение? Мне хочется верить, что даст.

Вечером я возвращаюсь домой после смены, падаю на кровать в одежде и почти сразу засыпаю.

Просыпаюсь от звука.

Часы показывают без десяти три. Звук идёт от входной двери: тихое, настойчивое царапанье металла о металл. Скрип, потом ещё один, потом пауза, и снова скрип. Я лежу в темноте и некоторое время не понимаю, снится это или нет. Потом до меня доходит: кто-то пытается открыть мою дверь.

Сон слетает мгновенно, я встаю и босиком иду в прихожую. Сердце бьётся так громко, что, кажется, его слышно в

подъезде. На двери два замка и цепочка. Нижний замок сейчас тихо, упрямо щёлкает: кто-то вставляет в него ключ и пытается повернуть.

Я смотрю в глазок.

Там, в полумраке лестничной клетки, стоит человек в полосатой пижаме и домашних тапках. Седые волосы стоят вокруг головы пухом. В руке у него связка ключей, и он сосредоточенно примеряет один за другим, вставляя их в мою замочную скважину.

— Кто там? — спрашиваю я через дверь.

Он вздрагивает, поднимает голову. Лицо у него приятное, с мягкими чертами и большими очками на носу. Смотрит он не в глазок, а чуть мимо, и говорит тихо, виновато:

— Простите, пожалуйста. Не могу открыть. Наверное, замок поменяли.

Я снимаю цепочку, отпираю оба замка и открываю дверь. Мужчина отступает на шаг, поправляет очки. Ему лет семьдесят.

— Простите, молодой человек, я, кажется, вас разбудил. Я ищу свою квартиру. — Он улыбается так, словно извиняется за нелепую шутку. — Совсем забыл, какой у меня этаж.

— Пятый.

— Пятый? — Он озадаченно моргает. — А я думал, четвёртый.

Я узнаю его. Видел несколько раз на лестнице: сосед с этажа ниже, всегда в светлой куртке, всегда вежливо здоровал-

ся и придерживал дверь подъезда.

— Давайте провожу, — говорю я. — Вы с четвёртого.

— Правда? Вы меня знаете?

— Вы живёте подо мной. Пойдёмте.

Я накидываю куртку на майку и веду его вниз. Он идёт медленно, держась за перила. На площадке между этажами останавливается, смотрит на стену и вдруг говорит:

— Знаете, я ведь когда-то был шахматистом. Кандидатом в мастера. У меня была память на партии. Я мог сыграть вслепую партию, которую видел двадцать лет назад. — Он замолкает, и лицо у него становится растерянным. — А вот сейчас что-то... Простите, о чём мы говорили?

— Про шахматы.

— Да-да. Про шахматы. — Он кивает, но я вижу, что за этим словом у него теперь ничего нет.

На четвёртом этаже дверь одной из квартир приоткрыта. В щели видна полоска света и женское лицо, бледное, с широко раскрытыми глазами. Женщина выскакивает на площадку в халате, хватая мужчину за рукав.

— Лёня! Господи, Лёня, где ты был? Я же... Я в туалет на пять минут, а ты... — Она замечает меня, и голос у неё срывается. — Простите. Спасибо вам. Спасибо огромное.

— Он пытался открыть своим ключом мою дверь.

— Да, да. — Она крепко обхватывает мужа за плечи. — Он... Он просто очень устал. Он плохо спит. Это от давления.

Она говорит быстро, не глядя мне в глаза. Мужчина стоит рядом послушно, как ребёнок, и улыбается мне с вежливым недоумением.

— Он, понимаете, всю жизнь был с отличной памятью. Шахматист.

— Он говорил.

— Да. — Она сглатывает. — Послушайте, молодой человек, вы... Вы не рассказывайте никому, пожалуйста. Заберут в больницу, а оттуда не выпускают. Мне соседка рассказывала. Я не отдам. Это просто усталость. Это пройдёт.

Мне хочется сказать, что вчера я был в больнице и видел, как там разговаривают с такими людьми: терпеливо, почти нежно. Что там просто тихо и очень много стульев. Но я не знаю, какие слова сейчас правильные.

— Не расскажу, — говорю я.

— Спасибо вам. Правда.

Она уводит мужа в квартиру, и дверь закрывается. Я стою на площадке и слушаю, как за ней звякает цепочка, потом второй замок, потом третий. Потом поднимаюсь к себе, запираю дверь на оба замка и накидываю цепочку.

Ложусь, но уснуть не могу, лежу и смотрю в потолок. Где-то под полом, очень тихо, мужской голос повторяет: «Какой этаж? Какой этаж?» Потом женский отвечает ему мягко, терпеливо, и всё затихает.

Я вспоминаю, как в прошлое воскресенье бабушка не могла вспомнить имя соседки, а мама смеялась чуть дольше, чем

нужно. Потом заставляю себя об этом не думать.

Глава 7

Просыпаюсь поздно, с тяжёлой головой. Солнце уже стоит высоко, на кухне гудит холодильник, а за окном гудят голоса, приглушённые, много сразу, все в одном месте. Я стою у окна с кружкой чая и смотрю вниз.

Во дворе человек пятнадцать. Они стоят полукругом на расстоянии от лавочки, как стоят у забора, за которым злая собака. На лавочке сидит старик в панаме.

Я сразу узнаю его: тот самый, из прошлой субботы, с газетой. Сейчас он тоже читает газету. Только держит её вверх ногами.

Я допиваю чай залпом и спускаюсь.

На улице пахнет пылью и кошками, под лавочкой лежит мяч. Дети стоят у подъезда: две девочки и мальчик лет шести. Рядом с ними мамы, которые прижимают их к себе и не отпускают рук.

— Он с шести утра сидит, — говорит женщина с хозяйственной сумкой, обращаясь ко всем сразу. — Я в магазин шла, он уже тут. Я ему «доброе утро», а он на меня смотрит, как на пустое место.

— Это Николай Григорьевич, — подхватывает другая. — С первого подъезда. Сорок лет там живёт. Вдовец.

— Он же в среду к дочери переехал. Она его забрала.

— Значит, обратно пришёл.

— Скорую вызвать надо.

— Звонили. Приедут по мере освобождения, сказали.

— А в полицию?

— И в полицию звонили. Приедут.

Мужчина в майке, с овчаркой на коротком поводке, скрепчивает руки на груди.

— Надо его оттуда убрать. Дети же рядом.

— Куда убрать? Он старый человек!

— Он не в себе. Вы посмотрите на него.

Я смотрю. Старик сидит ровно, колени вместе, пальцы чуть сжимают края газеты. Лицо у него доброе, морщинистое, с мягкими складками у рта. Он глядит на лист, но не читает: глаза не двигаются по строчкам, а просто упираются в бумагу. Время от времени он переворачивает страницу, медленно, как будто боится память.

Я вдруг вспоминаю ту субботу. Дети играли в мяч, кто-то орал «пас, пас, ну пас же!», мяч бился о лавочку рядом с этим стариком, а он даже не вздрагивал. Тогда я решил, что он глуховат или что человеку просто хорошо в тени.

Дело было не в слухе. Он просто уже тогда не замечал, что вокруг что-то происходит.

— Здравствуйте, — говорю я, подходя ближе. Толпа за спиной неодобрительно шевелится. — Николай Григорьевич?

Он поднимает на меня глаза. Улыбается вежливо и недоумённо, так же, как сосед с четвёртого этажа этой ночью.

— Здравствуйте, молодой человек. Вы не подскажете, как мне пройти домой?

— А где вы живёте?

— Там липа. — Он смотрит в сторону дороги, потом вдруг на меня. — И жена ждёт. У неё суп.

— Какая жена? — шепчет женщина с сумкой. — Люся же шесть лет назад умерла.

Я присаживаюсь на корточки перед лавочкой, чтобы глаза были на одном уровне.

— Николай Григорьевич, вас дочь ищет. Давайте я вас провожу.

— Дочь? — Он морщит лоб. — У меня есть дочь?

Из-за угла дома вылетает женщина и бежит, на ходу роняя сумку: лет сорока, в лёгкой куртке, с растрёпанными волосами, лицо мокрое. Она бросается к лавочке и падает перед стариком на колени.

— Папа! Папа, господи, ты где был! Я с ночи... Я всю ночь... — Она хватается за руки. — Папа, это я. Лариса. Папа!

Он смотрит на неё долго, с той самой вежливостью, от которой у меня сводит челюсти.

— Простите, девушка. Вы что-то хотели?

Лариса втягивает воздух рывком, со всхлипом. Она вцепляется в его пальцы и тянет к себе.

— Папа, пойдём домой, ну пойдём, ну пожалуйста...

— Подождите, — говорит он, нахмурившись. — Вы мне

делаете больно.

— Папа...

— Оставьте меня.

Он выдёргивает руку. Лариса не отпускает, пытается обнять, прижать, и вдруг лицо старика меняется. На долю секунды в нём что-то исчезает: мягкость, вежливость, улыбка. Остаётся пустота. Он наклоняется вперёд и вцепляется зубами ей в ладонь.

Звук короткий, влажный, как будто кто-то надкусывает яблоко. Лариса вскрикивает, толпа охает хором. Одна из мам прижимает ребёнка к себе, другая закрывает рот рукой.

— Он её укусил! — кричит мужчина с овчаркой. — Он её укусил! Я говорил!

Старик отпускает её руку, откидывается на спинку лавочки. На лице у него снова доброе, чуть удивлённое выражение. Он вытирает рот ладонью и спрашивает вежливо, ни к кому:

— Простите, а куда мне идти?

Лариса сидит на земле, держа левую ладонь правой, и между пальцами у неё течёт кровь. Не фонтаном, а тонкой густой струйкой, которая стекает по запястью и капает на асфальт.

У меня в глазах темнеет, с краёв.

Я знаю это состояние. Рот наполняется привкусом монетки, колени становятся ватными. Я отворачиваюсь и смотрю на дерево, на листья, на прожилки на них, и считаю: раз, два,

три. Потом оборачиваюсь, потому что отвернуться нельзя.

— Аптечка, — говорю я вслух, сам не знаю кому. — В машине. Подождите.

Я бегу к «Калине», рывком открываю багажник. Аптечка лежит под ковриком, в красной пластиковой коробке. Руки у меня трясутся так, что крышка не поддаётся с первого раза.

— Вот. Бинт. Давайте.

Лариса смотрит на меня, будто видит впервые. Потом берёт у меня рулон правой рукой, неловко, и пытается обмотать левую, но бинт выскальзывает.

— Я держу, — говорю я. — Только конец. Вы крутите.

Я беру конец бинта двумя пальцами, подальше от крови, и она, сжав зубы, обматывает ладонь. Белое быстро краснеет. Я смотрю не на рану, а на её лоб, на выбившуюся прядь волос, на пот над верхней губой.

— Спасибо, — выдыхает она. — Спасибо вам. Он... Он не такой. Он никогда никого не...

— Я знаю.

— Нет, вы не знаете. Он за сорок лет ни на кого голос не повысил. Он не такой.

— Я знаю, — повторяю я.

Она кивает и прячет руку в рукав куртки.

Мужчина с овчаркой к тому времени уходит, дёрнув поводок. Остальные тоже расходятся по одному, не глядя друг на друга. Женщина с хозяйственной сумкой задерживается рядом, смотрит на меня, потом на рукав Ларисы. Мы оба мол-

чим. Мне вдруг понятно, почему никто не станет говорить полицейским про укус: услышав это слово, они заберут не только старика, но и всех, кто стоял рядом.

Полиция приезжает минут через сорок. Двое: старший сержант лет пятидесяти с усталым лицом и парень с густыми усами, по виду моложе меня. Они выходят из машины без спешки. Сержант смотрит на старика, потом на нас, потом снова на старика.

— Кто вызывал?

— Мы все, — отвечает женщина с сумкой. — Три часа назад.

— Знаю. У нас таких вызовов сто. — Сержант подходит к лавочке и склоняется. — Николай Григорьевич?

Старик поднимает глаза.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Мы приехали вас домой отвезти. Пойдёмте с нами, тут шумно.

— Домой? — Лицо у старика светлеет. — Да, мне давно пора.

Сержант берёт его под руку осторожно, как берут за руку ребёнка. Усатый парень идёт с другой стороны. Они ведут старика к машине, он идёт послушно, с газетой под мышкой. Лариса поднимается, пошатываясь.

— Я поеду с ними, — говорит она. — Я его дочь.

— Конечно, — отвечает сержант. — Садитесь рядом.

— Что у вас с рукой? — Усатый смотрит на её рукав.

— Поцарапалась о забор, пока искала его.

Он кивает, и она отворачивается. Я вижу, как под рукавом выступает тёмное пятно и как она быстро прижимает локоть к боку.

У открытой дверцы машины старик вдруг останавливается и оборачивается. Находит меня глазами. Смотрит долго, а потом протягивает газету.

— Возьмите, молодой человек, — говорит он. — Я не до-
решал.

Я беру, сам не знаю зачем. Он улыбается и садится в машину.

Они уезжают, мамы уводят детей по подъездам, и я остаюсь один у лавочки. Мяч так и лежит под ней.

Я разворачиваю газету. Она вчерашняя, с кроссвордом на последней странице. Он заполнен ручкой, аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Первые слова вписаны правильно: «Кремль», «река», «тюльпан». Дальше слова становятся другими: «самовар» превращается в «самавор», «облако» — в «обалко». Ниже вообще набор букв, как будто писал человек, у которого осталась привычка заполнять клеточки, но пропало понимание — зачем. Последнюю строку он, кажется, вписывал, перевернув газету: буквы стоят вверх тормашками.

Я долго стою с этой газетой, потом складываю её пополам и кладу в карман куртки. Выбросить не могу.

В четыре у меня смена. Я иду домой, поднимаюсь по лест-

нице, на четвёртом этаже останавливаюсь у двери, за которой живёт старик-шахматист с женой. Там тихо. Я стою секунд десять и иду выше.

Глава 8

Воскресный обед у родителей проходит почти как в прошлый раз, только пирожков нет: бабушка не приехала.

— Позвонила утром, говорит, поясница, — объясняет мама, расставляя тарелки. — Лёша предлагал за ней съездить, она ни в какую.

— Я съезжу в середине недели, — говорит отец.

— Она не хочет, Лёш.

— Всё равно съезжу.

Он ест молча, не поднимая глаз. Даша сидит напротив меня и, против обыкновения, не прикасается к телефону. Он лежит у неё перед тарелкой экраном вверх, но она на него не смотрит.

— Тёма, — говорит мама, когда все доедают. — Нам надо поговорить.

Я кладу вилку.

— О чём?

— Ты переезжаешь к нам.

— Мам, у меня работа. У меня квартира.

— Какая работа? — Мама показывает на телевизор в углу кухни, где без звука идут новости. — Ты видел, что вчера объявили?

Я видел. Областные власти объявили, что с понедельника вводится комендантский час: с девяти вечера до шести утра

выходить из дома нельзя. Общественный транспорт ограничен, торговые центры закрыты, школы переходят на дистанционное обучение. Для курьеров обещают какие-то пропуска, но когда и на каких условиях, пока никто не знает.

Внизу экрана ползёт строка, и я читаю её, пока мама ждёт ответа: «...въезд и выезд из Иркутской области временно ограничены... аэропорт Иркутск закрыт до особого распоряжения... в Москве и Новосибирске выявлены отдельные случаи... ситуация находится под контролем...» Отдельные случаи — значит, уже не только у нас. И значит, это не нас спасают, а от нас закрываются.

— Ура, школа закрыта, — тихо говорит Даша, но радости в голосе нет.

— Это не «ура», — отзывается мама. — Тёма, пойми. Ты живёшь один, на пятом этаже, в доме, где ты почти ни с кем не знаком. Если что-то случится, я не успею к тебе добратся, а ты не успеешь к нам.

— Мам...

— Я не приказываю, — говорит она и берёт мою руку, и пальцы у неё тёплые, чуть дрожащие. — Я прошу. Пожалуйста.

Я смотрю на отца. Он ковыряет вилкой остатки салата, но я вижу, что он ждёт.

— Пап?

— Возьми, что нужно, и приезжай, — говорит он, не поднимая головы.

Я бы кивнул сразу, но что-то во мне упирается. Три месяца я учился жить сам: варить плохие супы, платить за квартиру, засыпать под гул холодильника, который мне не принадлежит. И вдруг всё это надо отдать.

— До среды хотя бы, — говорю я. — Дай мне до среды.

— До понедельника, — отвечает мама. — Лёша заедет за тобой завтра вечером.

— До понедельника уже завтра.

— Вот именно.

Даша тихо смеётся, прикрыв рот ладонью, и мама бросает на неё взгляд, но тоже улыбается краем губ.

В понедельник утром мне звонит Тамара Ивановна.

— Артём, здравствуйте. Вы мне вчера писали, что съезжаете. Я к вам зайду.

— Тамара Ивановна, у меня беспорядок...

— Я всякое видела. Через полчаса.

Она приходит ровно через полчаса, маленькая, в сером плаще, с хозяйственной сумкой в одной руке и палочкой в другой, седые волосы убраны под косынку. Я видел её всего раза три: когда подписывал договор и когда относил деньги. Она всегда казалась мне строгой, как завуч.

— Не разувайтесь, — говорит она, проходя в комнату. — Тут не музей.

Она оглядывает мою квартиру: кухню с кастрюлей на плите, жёлтое пятно на потолке, подоконник с пластырями. Задерживает взгляд на старом телевизоре в углу: он её.

— Правильно делаете, что едете к родителям, — говорит она. — Я принесла вам огурцов. Мои, с дачи. Банку на дорожку.

— Спасибо. Я не...

— Берите. Время нынче такое, что лишнего не бывает.

Я беру банку. Она тяжёлая, с мутным рассолом и плавающими в нём веточками укропа.

— Знаете, Артём, — Тамара Ивановна садится на табурет, опираясь на палочку, — когда вы приходили смотреть квартиру, я подумала: ну всё. Тихий. Все тихие жильцы либо убийцы, либо поэты.

— И кто я?

— Вы оказались просто хорошим человеком. Ни разу никого не затопили. — Она улыбается, и лицо у неё вдруг становится совсем другим: мягким, с тонкими морщинками у глаз. — Я за три года такого жильца ещё не видела.

— А зачем тогда вы звонили мне каждое второе воскресенье?

— Чтобы вы не забывали, что я рядом. — Она достаёт из кармана носовой платок и вытирает им уголок глаза, делая вид, что просто чешет бровь. — Сын из Москвы звонит каждый вечер. Говорит, там то же самое. Закрывают всё подряд. Просит приехать, а как я поеду? Поезда же не ходят.

Я не знаю, что сказать, и просто стою с банкой огурцов в руках.

— Ключи оставьте мне, — говорит она наконец. — Не

обижайтесь. Я хочу, чтобы квартира была под присмотром. Платить не надо: за сентябрь вы уже отдали, а там посмотрим.

— Если я вернусь...

— Вернётесь. Квартира ваша. Я никому больше не сдам.

Она сидит и смотрит, как я собираю вещи. Джинсы, футболки, свитер, зарядки, паспорт, документы на «Калину». Кастрюлю, ту самую, мамину, с отбитым краем. Пластыри с котами, подарок Даши. Газету с кроссвордом: я вытаскиваю её из куртки, смотрю и снова прячу на самое дно сумки.

Потом достаю связку ключей из кармана и кладу ей в ладонь. Она сжимает пальцы, потом вдруг шагает ко мне и неловко обнимает, доставая лбом до моей груди.

— Берегите себя, Артёмушка, — шепчет она. — И родителей берегите.

— Хорошо, Тамара Ивановна.

Она отпускает меня, берёт палочку и уходит. Я слушаю, как палочка стучит по ступенькам, всё тише.

Остаётся вечер.

Я не хочу уезжать голодным, поэтому варю напоследок суп. Из того, что есть: консервированная фасоль, макароны, остатки лука. Бульона нет, я просто ставлю воду, и она долго кипит одна. Соль добавляю в самом конце, как говорила мама. Суп получается почти съедобным, и я ем его у окна, глядя на двор.

Во дворе пусто. Лавочка, на которой сидел Николай Гри-

горьевич, стоит с обрывком газеты на краю. Мяч кто-то убрал. На подъезде напротив висит бумажка с объявлением про комендантский час.

Отец приезжает в восемь. Звонит снизу и говорит коротко:

— Выходи.

Я выношу сумки. Он стоит у своей машины, прислонившись боком, и смотрит на мою «Калину». Потом переводит взгляд на меня.

— Поедешь за мной.

— Хорошо.

— И не отставай.

Он берёт у меня сумку, ту, что потяжелее. Я вдруг замечаю, что пальцы у него чуть дрожат, но он тут же убирает руку в карман.

— Всё взял?

— Всё.

— Кастрюлю?

— Кастрюлю.

— Тогда поехали.

Я оглядываюсь на дом. Окно моей квартиры, на пятом этаже, смотрит на меня тёмным прямоугольником. Я не оставил там свет, и мне вдруг становится жаль, что в окне никого нет.

Мы едем через город, непривычно тихий. Магазины закрыты, на некоторых витринах стоят решётки, на других

просто висят листы бумаги: «Не работаем». Людей на улицах мало, редкие прохожие торопятся домой, прижимая к груди пакеты. На перекрёстке стоит патрульная машина с включённой мигалкой, но sireны нет.

Нас останавливает полицейский, старший лейтенант.

— Документы.

Отец протягивает паспорт. Я следом протягиваю свой из окна «Калины».

— Куда направляетесь?

— Домой. К родителям. Он переезжает, — отвечает отец спокойно.

— Адрес регистрации?

Отец называет. Лейтенант смотрит на меня, потом на сумки на заднем сиденье, потом на отца.

— До двадцати одного ноль-ноль осталось сорок минут. Успеете?

— Успеем.

— Тогда езжайте. — Он возвращает паспорта. — И по дороге не останавливайтесь.

Мы едем дальше. Через десять минут я сворачиваю на знакомую улицу. Знакомый двор, знакомый подъезд, в окне на третьем этаже горит свет, и сердце у меня на секунду сжимается.

Мама ждёт на площадке. Она в халате, с полотенцем в руках, и, пока я поднимаюсь по лестнице, смотрит на меня с такой тревогой, что я невольно ускоряю шаг.

— Приехали, — говорит она тихо. — Слава богу.

— Мам, всё нормально.

— Конечно. Идите ужинать.

— Я ел.

— Ну и что.

Даша вылетает из комнаты и повисает у меня на шее.

— Ты приехал! — кричит она мне в ухо. — Ты правда приехал!

— Правда. Тише, соседи услышат.

— Ты с кастрюлей! — Она замечает у меня в руках мамину кастрюлю. — Господи, Тёма, ты притащил кастрюлю!

— Это не моя, это мамина.

— Она уже твоя, — отзывается мама из кухни.

Моя комната, которую я оставил три месяца назад, преобразована в кладовку. Вдоль стен стоят коробки, на подоконнике сушатся банки, на кровати лежит стопка постельного белья. Я смотрю на всё это и чувствую, как у меня внутри что-то оттаивает.

— Мы собирались прибраться, — говорит Даша у меня за спиной, — но мама сказала, что ты всё равно вернёшься и сам всё разберёшь.

— Мама знала, что я вернусь?

— Конечно. Все знали. Только ты не знал.

Она смеётся, и я смеюсь тоже, хотя глаза у меня почему-то щиплет.

Ночью я лежу на своей старой кровати среди коробок и

слушаю, как за окном тихо проезжает патруль. Сирены нет, только шины шуршат по асфальту. Дом дышит знакомыми звуками: где-то за стеной кашляет сосед, у кого-то включён телевизор, мама в соседней комнате что-то шепчет отцу.

Дверь приоткрывается. Я не сплю, но не шевелюсь.

Мама стоит на пороге, босиком, в халате. Некоторое время просто смотрит, потом тихо подходит и садится на край кровати. Матрас прогибается под ней, как в детстве, когда она приходила ко мне после кошмаров.

— Не спишь, — говорит она. Это не вопрос.

— Не сплю.

Она молчит, поправляет одеяло, разглаживает ладонью ткань у меня на плече, хотя там нечего разглаживать.

— Я хотела тебе сказать, — начинает она негромко. — Я очень рада, что ты приехал.

— Мам...

— Подожди, дай договорить. Я понимаю, что ты уже взрослый. Что ты захотел жить сам и у тебя получалось. Мне было трудно это принять, но я гордилась тобой. Правда. Я ходила по квартире и думала: вот, мой сын уже взрослый.

— Я не...

— Но сейчас всё по-другому. — Голос у неё чуть дрожит, но она держит его ровно. — Сейчас нам надо держаться вместе. Всем. Я не знаю, что будет, Тёма. Никто не знает. Но мне легче, когда вы все под одной крышей, когда я слышу, как ты ходишь по коридору, как Даша ругается из-за телефона,

как отец храпит.

— Он храпит?

— Ужасно. Ты привыкнешь. — Я слышу по голосу, что она улыбаётся. Потом улыбка пропадает. — Я тебя люблю. Я редко это говорю. Но сейчас лучше сказать.

В горле у меня встаёт ком, и я не сразу могу ответить.

— Я тоже, мам.

— Знаю. — Она берёт мою руку, сжимает, и пальцы у неё тёплые. — Спи.

Она наклоняется и касается губами моего лба, как не делала лет десять. Потом уходит и прикрывает дверь не до конца, оставляя узкую щель, как в детстве. Я лежу и смотрю, как в этой щели виднеется полоска света из коридора. И впервые за много дней засыпаю быстро.

Часть 2. «Дом»

Глава 9

Утром во вторник просыпаюсь от храпа.

Он идёт из соседней комнаты, ровный, раскатистый, как работа плохо отрегулированного мотора. Я лежу на своей старой кровати среди коробок и банок, смотрю на трещину в потолке и пытаюсь вспомнить, храпел ли отец раньше. Наверное, да. Просто тогда я спал в наушниках.

На кухне мама жарит оладьи, Даша сидит на подоконнике с ноутбуком и недовольно смотрит в экран.

— У нас урок географии, — объявляет она. — Дистанционный. Учитель включил камеру, и у него за спиной висит ковёр. Настоящий, с оленями.

— Ну и что?

— Ничего. Просто весь урок смотрю на оленей.

Мама ставит передо мной тарелку с горкой оладий и сметаной.

После завтрака я беру пакет с мусором и выхожу на лестничную площадку. Дверь напротив открыта нараспашку, оттуда тянет жареной картошкой и доносится громкий мужской голос:

— Светка! Где у нас второй тапок? Я один ношу, не знаю,

чей он!

На площадку выходит мужчина лет пятидесяти, плотный, в майке и спортивных штанах, с пышными усами и румяным лицом человека, который много работает и много смеётся. Он замечает меня, останавливается и расплывается в улыбке.

— О! Вернувшийся. Тёма, да? Мне Люда про тебя столько рассказывала, что я уже думал, ты миф. Мы с женой въехали в июне, сразу после того, как ты сбежал. Геннадий, сосед напротив. — Он протягивает огромную ладонь, и яжимаю её, чувствуя, как кости слегка хрустят. — Если по ночам будет шумно, не пугайся. Это не мы. Это Светка телевизор смотрит. Она у меня сериалы любит, а звук не выключает.

— Гена! — доносится из квартиры женский голос, усталый и ласковый. — Я тебя слышу!

— Видишь? — Геннадий подмигивает. — Мы живём в атмосфере полного доверия.

В проёме двери появляется женщина в клетчатом халате, с полотенцем на голове, лет сорока пяти, невысокая, с круглым лицом и усталыми глазами. Она улыбается мне, но как-то слабо.

— Здравствуйте, Артём. Не обращайтесь на него внимания, он с утра такой. Я Светлана.

— Рад познакомиться.

— Заходите на чай как-нибудь. Только не сейчас, у нас бардак.

— Не бардак, а творческий беспорядок, — вмешивается Геннадий.

— Бардак.

Она улыбается, и он вдруг, совсем по-мальчишески, чмокает её в макушку. Я отвожу взгляд и спускаюсь с пакетом вниз, и мне почему-то приятно, что я буду жить рядом с такими людьми.

На лестнице между этажами мне навстречу поднимается женщина с маленькой собачкой на руках. Лет шестидесяти пяти, прямая, как линейка, в строгой синей кофте, с седыми волосами, заколотыми так туго, что кожа на висках натянута. Собачка, рыжая и лохматая, смотрит на меня с недоверием, как сторож.

— Корнилов, — не спрашивает, а констатирует она. — Вернулись.

— Здравствуйте, Нина Андреевна. Да, на время.

— Хорошо. Мужчины в подъезде сейчас нужны. И, между прочим, вы мне до сих пор не сдали «Робинзона Крузо». В шестом классе брали.

— Нина Андреевна, это было десять лет назад.

— Одиннадцать. Я помню. — Она перехватывает собачку поудобнее. — Это Бублик. Вы с ним не знакомы. Бублик, поздоровайся.

Бублик громко и пронзительно лает.

— Не обращайтесь внимания, он нервничает. Вечером в семь собрание во дворе. Придут все. Вы тоже.

— Хорошо.

— Не «хорошо», а «обязательно», — поправляет она. — Ситуация непростая.

Она проходит мимо и поднимается вверх, продолжая что-то бормотать собаке на ходу. Я смотрю ей вслед и понимаю, что спорить с ней так же бесполезно, как с мамой.

Во дворе в семь вечера собирается человек двадцать пять. Я стою рядом с отцом, мама с Дашей чуть поодаль. Люди рассаживаются на лавочках и на ящиках, которые кто-то вынес, кто-то стоит. Двор пахнет пылью и листвой. На лицах напряжение, но не паника: больше любопытства и стеснения, как бывает на родительских собраниях.

Нина Андреевна встаёт перед нами с тетрадью в клетку. Бублик сидит у её ног и сверлит всех недоверчивым взглядом.

— Добрый вечер. Давайте начнём. — Она открывает тетрадь. — Нас двадцать квартир. Ситуацию в городе вы знаете. Я сорок лет проработала в библиотеке и привыкла к порядку. Поэтому предлагаю обсудить несколько простых правил.

— Давайте сразу выберем царя, — подаёт голос Геннадий из заднего ряда.

— Мы выберем ответственного.

— Вот я и говорю: царя.

Сзади смеются. Нина Андреевна поджимает губы, но улыбка всё-таки дёргается у неё в уголке рта.

— Первое. Дверь подъезда с двадцати одного часа до ше-

сти утра закрыта на засов. Домофон не считается: курьеры и всякие умельцы открывают его универсальным ключом. Засов изнутри, ключ от навесного замка у меня и у дежурных. Чужих не пускать. Никого, даже если очень просят.

— А если это кто-то знакомый? — спрашивает женщина с первого этажа.

— Знакомых пускают те, кто за них отвечает, — отрезает Нина Андреевна. — Под свою ответственность. Остальных — нет. Второе. Дежурство. Каждую ночь по двое у входа, раз в час один из них обходит этажи. График составим сегодня. Освобождаются больные и женщины с детьми до трёх лет.

— Чего? — переспрашивает бабушка Клава со второго этажа и прикладывает руку к уху.

— Дежурство, Клавдия Ивановна. По ночам, — кричит ей соседка.

— А, я думала, про суп.

Все смеются, и напряжение немного спадает.

— Третье, — продолжает Нина Андреевна, перекрывая шум. — Запасы. Я не прошу складывать всё в общую кучу. Я прошу, чтобы у нас был список: у кого что есть, сколько воды, еды, лекарств. Чтобы мы знали, чем можем помочь друг другу.

Поднимается недовольный гул.

— Это что, переписывать нас будут?

— Вы что, хотите наши продукты забрать?

— Никто ничего не забирает, — повышает голос Нина

Андреевна. — Это нужно, чтобы не получилось так, что у одних лишнее, а у других ничего. Вот у вас, Катя, грудной ребёнок. Что вы будете делать, если закончится смесь?

Из ряда лавочек поднимается молодая женщина с младенцем на руках, худая, бледная, с тёмными кругами под глазами. Рядом стоит её муж, такой же юный.

— Я не знаю, — говорит она тихо. — У нас осталось на неделю. Дима искал, но нигде нет.

В воздухе повисает тишина. Только Бублик чешется где-то у ног.

— У меня есть, — вдруг говорит мама. Она поднимается рядом с Дашей, и я вижу, что у неё чуть дрожат руки. — У меня осталась банка смеси от подруги, у неё внук уже вырос. Почти целая. Я принесу.

— Спасибо, — говорит Катя, и голос у неё ломается.

— И у меня, — подхватывает кто-то с другой стороны. — Подгузники остались, я принесу.

— И стерилизатор есть, мы не пользуемся.

Нина Андреевна смотрит на всё это, вытирает уголок глаза платком и тут же делает вид, что высморкалась.

— Вот именно, — говорит она сдавленно. — Вот для этого список. Чтобы знать, кому что.

Дальше всё идёт быстрее. Даша, которую мама тихо подталкивает, вызывается писать график. Она садится на ящик, кладёт тетрадь Нины Андреевны на колени и принимается чертить таблицу с таким видом, будто это самое важное дело

в её жизни. Я заглядываю через плечо: она рисует на полях маленьких человечков с фонарями и подписывает «Дозор». Потом в заголовке выводит красивыми буквами: «ПРАВИЛА ПОДЪЕЗДА».

— Кто что умеет? — спрашивает Нина Андреевна. — Нам нужно знать ресурсы.

— Я умею варить и шить, — говорит мама.

— Я могу поменять любую розетку, — выкрикивает пожилой мужчина с первого этажа, в старой байковой рубашке. — Валерий Павлович. Бывший электрик. У меня есть шесть метров кабеля и три тройника.

— Это шутка?

— Это ценность, — гордо отвечает он.

— Я механик, — говорит отец рядом со мной, и все поворачиваются к нему. — Двигатели, насосы, генераторы. Что-то могу починить.

— А я строитель, — добавляет Геннадий. — Умею заколачивать двери и размахивать молотком. Если понадобится, могу и то, и другое одновременно.

— Не одновременно, пожалуйста, — просит Нина Андреевна.

Вокруг смеются. Потом Нина Андреевна читает график вслух, и начинается торг. Один не может по вечерам, у другого ночная смена, у третьего астма. Женщина с первого этажа выясняет у Валерия Павловича, почему он дежурит в среду, а не в четверг. Геннадий предлагает дежурить сразу за

двоих, раз всё равно не спит. Светлана, которая стоит рядом с ним, тихо трогает его за локоть.

— Гена. Не надо.

— Надо, Светуль. Раз у людей астма.

— Ты и так на работе... — Она вдруг морщится и тихо добавляет, будто стесняясь: — Голова что-то...

— Иди домой, — сразу говорит Геннадий. — Мы сами тут разберёмся.

Она уходит, прижимая пальцы к виску. Я смотрю ей вслед и думаю, что у неё, наверное, мигрень.

Отец поднимает руку.

— Я возьму сегодняшнюю ночь. Первым.

— Вторым пойдёт Тёма, — раздаётся рядом. Это мама. Она говорит спокойно, но по тому, как смотрит на меня, я понимаю: это не обсуждается.

— Хорошо, — говорю я.

Ночью мы сидим у входной двери подъезда.

Отец притащил два табурета, термос с чаем и свой фонарь. На стене у двери на гвозде висит свисток на красном шнурке. «Если что, свистите, — сказала Нина Андреевна. — Бублик услышит». Мне до сих пор непонятно, шутка это или нет.

В окне над лестницей, на площадке между первым и вторым этажом, темно. Фонари на улице горят через один, и в их свете двор кажется чужим, плоским, как декорация. Время тянется медленно. Где-то вдали гудит машина, потом стиха-

ет. В час ночи я беру фонарь и обхожу этажи: на каждой площадке тихо, из-под дверей пахнет чужими ужинами и чем-то ещё, домашним.

— Чай будешь? — спрашивает отец, когда я возвращаюсь, и протягивает мне крышку термоса. — Мать наливала. Не отказывайся.

— Не отказываюсь.

Мы молча пьём тёплый сладкий чай с лимоном. Я смотрю на отца: он сидит прямо, с чашкой в обеих руках, и смотрит на дверь так, как смотрит на двигатель, который надо понять. Лицо у него в полутьме кажется старше.

— Пап, — говорю я. — А ты как думаешь? Это надолго? Он думает так долго, что я уже решаю: не ответит.

— Не знаю, — говорит он наконец. — Но я знаю, что делать. Будем жить дальше. Работать, чинить, кормить. Это главное. Остальное не нам решать.

— А бабушка?

Отец отставляет чашку.

— Утром за ней съезжу, как комендантский закончится. Она упрямая, наверное, будет сопротивляться.

— Почему?

— Потому что она всю жизнь жила в своём доме. И я её понимаю. — Он вдруг усмехается. — Знаешь, как мы с твоей матерью познакомились? Я пришёл к ним домой на смотрины. Бабушка меня допрашивала часа два. Спрашивала про работу, про родителей, про зарплату. А в конце спросила: «А

руками работать умеешь?» Я говорю: «Умею». Она: «Тогда женись, будешь мне забор чинить».

Я фыркаю в чашку.

— И что, чинил?

— Чинил. До сих пор чиню. Каждое лето. — Он качает головой, но улыбается. — Она меня любит больше, чем родную дочь. Только не признаётся.

— Мама бы услышала.

— Мать знает.

Мы тихо смеёмся, чтобы не шуметь. Потом наступает пауза. Отец смотрит в темноту за окном и вдруг говорит уже совсем другим голосом:

— Я не хочу оставлять её там одну. Вот и всё.

Я киваю. Больше мы об этом не говорим.

В четыре утра по двору проходит патруль: две фигуры, фонарь, шаги. Они не останавливаются. В половине пятого к подъезду выбегает кошка и пропадает. К шести небо светлеет, и отец встаёт, разминает спину и кладёт руку мне на плечо.

— Хорошая ночь. Спокойная.

Нина Андреевна уже ждёт у двери подъезда, в халате, с Бубликом на руках. Принимает у отца ключи, смотрит на нас, потом на термос.

— Спасибо, — говорит она. — Идите отдыхать.

Мы поднимаемся к себе. На третьем этаже за дверью Геннадия слышен приглушённый женский кашель. Я останавли-

ваюсь на секунду и иду дальше.

Глава 10

В среду в девять утра, поспав часа три, мы с отцом выезжаем за бабушкой.

Город пустой, хотя комендантский час закончился три часа назад. По улицам бродят патрульные машины, как сторожевые собаки, которым забыли сказать, что ночь кончилась. Отец ведёт молча, одной рукой, вторая лежит на колене. На заднем сиденье термос, два пустых мешка, моток верёвки и коробка с инструментами. Всё это он собрал за те три часа, что я спал, а сам, кажется, так и не лёг.

— Только не спорь с ней, — говорит отец, не поворачивая головы. — Она у меня упрямее мотора. Если скажет «нет», значит, «нет». Но «нет» у неё бывает разное.

— Это как?

— Бывает «нет, я не хочу». Бывает «нет, но уговорите меня». А бывает «нет, потому что я боюсь». — Он хмыкает. — Последнее она никогда вслух не говорит.

Мы выезжаем на окраину, где асфальт сменяется грунтовой, а многоэтажки — низкими деревянными домами. Заборы, ворота, скворечники на шестах. Над некоторыми трубами тянется дым: кто-то готовит на печи. Пахнет дровами и мокрой землёй. Я опускаю стекло, и этот запах лезет в машину, детский, живой.

Бабушкин дом стоит в конце улицы. Я бывал здесь десят-

ки раз: брёвна, потемневшие от времени, зелёные ставни, крыльцо с тремя ступеньками, на котором лежит вытертый коврик. Рядом огород, разделённый на ровные грядки, сейчас наполовину пустые, с рыжей ботвой и жёлтыми плетями кабачков, парник с мутной плёнкой, колодец в углу.

Забор вокруг дома выкрашен в голубой цвет. Я знаю, чья это работа: каждый июнь отец приезжает с банкой краски и неделю по вечерам возится с досками.

— Что-то не нравится мне, — говорит отец.

— Что?

— Калитка открыта.

Он глушит мотор. Мы выходим, и в тишине я слышу, как где-то на задах кукарекает петух. Отец идёт по тропинке к крыльцу быстрым шагом, и я иду за ним.

— Валентина Фёдоровна! — окликает он негромко.

Из-за дома, со стороны огорода, раздаётся голос:

— Тут я! Не ори, Лёша, куры нервничают!

Бабушка появляется из-за угла в старой кофте поверх халата и в переднике, с эмалированной миской в руках. Платок сбился набок, левая рука всё ещё забинтована, но бинт свежий, белый. Она улыбается нам, и я с облегчением вижу, что выглядит она почти как раньше: чуть бледнее, но живая.

— Приехали. Ну, проходите. Чай поставлю.

— Валентина Фёдоровна, мы за вами, — говорит отец.

— Знаю. Люда звонила. — Она ставит миску на крыльцо.

— Не поеду.

— Я так и думал.

— И правильно думал. — Она поворачивается ко мне. — Артёмка. Похудел.

— Бабуль, я...

— Все так говорят. Значит, правда. Иди сюда.

Она обнимает меня одной рукой, жёсткими пальцами хлопает по спине. Пахнет от неё луком, дымом и каким-то лекарством, горьковатым, незнакомым.

За забором слева раздаётся глухой стук.

Я оборачиваюсь. По ту сторону забора, в соседнем дворе, стоит человек, высокий, сухой, в застёгнутой на все пуговицы вязаной жилетке и в серых штанах. Он стоит у самой изгороди, положив ладони на доски. Голова слегка наклонена, глаза смотрят на бабушкин дом, но не на нас и ни на что конкретное.

— Пётр Семёныч, — говорит бабушка и берёт миску. — Здравствуйся, Тёма.

— Здравствуйте, Пётр Семёнович, — говорю я.

Лет десять я не видел его вблизи, и он стал меньше и суше. Он не отвечает.

— Он плохо слышит, — быстро добавляет бабушка.

Я уже видел такое. Видел человека, который держит газету вверх ногами. Видел вежливое лицо, за которым ничего нет.

Бабушка идёт к забору. Я иду за ней, а отец остаётся у крыльца.

В заборе не хватает двух досок: получилось окошко, в которое как раз проходит миска. Бабушка берёт ложку и протягивает её сквозь проём.

— Петенька. Поешь. Тёплое, с картошкой.

Пётр Семёнович опускает глаза. Он не двигается, но когда ложка оказывается у него перед лицом, раскрывает рот, медленно, послушно. Бабушка кормит его, как ребёнка, терпеливо вытирая подбородок краем передника.

— Вот так. Хороший. Ещё чуть-чуть.

Я смотрю на бинт на её левой руке. Рука лежит на доске забора, совсем рядом с рукой Петра Семёновича, которая медленно, осторожно двигается по дереву. Он не хватает, а просто касается, как человек, который проверяет, на месте ли знакомая вещь.

— Бабуль, — говорю я тихо. — Давно он такой?

— Недели две. — Она не оборачивается. — Вечером ещё помнил, как меня зовут. А утром уже нет. Только «Валя» говорит иногда. Одно слово.

— А врачи?

— Какие врачи, Тёма? Он три дня к нам ходил. Дошёл до калитки и остановился. Я и вынесла ему супу. С тех пор носу не кажет за забор.

Отец подходит к нам, и я вижу, что он всё слышал. Он стоит рядом, глядя на соседа бабушки, и лицо у него каменеет.

— Валентина Фёдоровна, — говорит он. — Вам не надо этого делать.

— Чего не надо, Лёша?

— Ходить к нему.

— А кто будет ходить? — Она наконец поднимает глаза. Голос у неё ровный, но в нём дрожит что-то острое. — Дети у него далеко. Один не звонит с лета, второй в Сургуте, у него жена болеет. А Петя всю жизнь про меня говорил: Валька, ты кормилица. Вот я и кормлю.

— Он может быть опасен.

— Он? — Бабушка смеётся тихо, горько. — Он, Лёша, забыл, как ложку держать.

Отец молчит. Я вижу, как у него двигается кадык.

На верёвке между столбами сушатся вещи: полотенце, пара носков. И в самом углу висит клетчатый платок, тот самый, чужой, о котором она рассказывала за пирогами. Он вымыт и выбелен, но на нём всё равно остались бурые разводы, как от старого чая. Я смотрю на него и почему-то не хочу подходить ближе.

— Это тот, которым парень ему рану перевязал? — спрашиваю я.

— Он самый. — Бабушка вытирает руки о передник. — Всё никак не отстирывается. Я его и мылом, и содой. Вот на солнце вешаю, может, отбелится.

— Выбросьте.

— Не могу. Чужое.

— Бабуль...

— Не спорь с бабушкой, — говорит она и берёт миску. —

Пойдёмте в дом, чай остынет.

Дом пахнет печкой, сухими травами и старой мебелью. На кухне стоит та самая печка, большая, побелённая, с чёрной заслонкой, и на её боку сидит рыжий кот и лениво смотрит на нас. Бабушка наливает чай, режет хлеб.

— Садитесь.

Мы садимся, отец держит чашку обеими руками.

— Валентина Фёдоровна, — начинает он. — Давайте без дураков. Вы поедете с нами.

— Не поеду.

— Почему?

— Потому что здесь мой дом.

— Вы тут одна.

— Я не одна. У меня Мурзик, кот, куры, огород. — Она загибает пальцы. — У меня Петя.

— Петя не в себе.

— Это ничего. Я и сама иногда не в себе.

— Валентина Фёдоровна...

Она вдруг оборачивается к стене, где висит выцветшая фотография в рамке: мужчина лет сорока, с широкими плечами и густыми бровями. Дед умер, когда мне было двенадцать. Я помню его руки и голос, а лицо знаю в основном по этой фотографии.

— Он мне говорил, — произносит она, не отрывая от снимка взгляда. — Перед смертью. «Валь, дом не бросай. Пока ты в нём, я рядом». Я и не бросаю.

Отец молчит, потом осторожно кладёт ладонь на стол рядом с её рукой.

— Валентина Фёдоровна, — повторяет он тихо. — Я не спорю про дом. Дом хороший. Но я за вас боюсь. Вы мне как мать. Я не хочу, чтобы вы оставались одна, когда станет хуже.

Бабушка долго смотрит на него, потом переводит взгляд на меня.

— Тёма. Ты чего молчишь?

— Я? — Я растерянно моргаю. — Бабуль, я...

— Скажи.

Я не знаю, что сказать, и достаю телефон.

— Тут Даша хотела с вами поговорить.

— Дашка?

Я набираю номер. Даша отвечает на втором гудке и сразу начинает говорить:

— Ба! Ба, поехали, я тебе хочу показать плакат, который мы с соседями рисовали, там человечки с фонариками, и я тебя нарисовала! Ты там самая главная! И мама пирогов напекла, но у неё не получается, как у тебя, ты должна приехать и сказать, как надо...

— Дашка, — говорит бабушка, и голос у неё вдруг становится тоньше. — Не тарыхти.

— Ба, ну пожалуйста. Мы тебя ждём. Все. Я прямо считаю часы.

Бабушка закрывает глаза и секунд десять просто сидит. Потом выдыхает.

— Ладно.

— Правда? — Даша почти кричит. — Ты поедешь?

— Поеду. Только ради тебя. И не ори, у меня в ухе звенит. Отец отворачивается к окну и сильно трёт переносицу.

Собираемся долго. Бабушка кладёт в мешок иконку, фотографию деда, шаль, швейную коробку, чугунок, мешочек с травами. Ходит по дому, трогает вещи. Целая жизнь остаётся на полках и в сундуках, но она не берёт ничего лишнего. Перед выходом она высыпает курам всё зерно, какое нашла в сарае, и оставляет открытыми курятник и дверь сарая, чтобы Мурзик мог выходить.

— Не пропадут, — говорит она, не глядя на нас. — Свои, деревенские.

— Тёма, — зовёт она потом уже из комнаты. — Иди сюда. Помоги достать.

В углу за шкафом стоит что-то длинное, завёрнутое в одеяло. Она разворачивает, и я вижу двустволку: старую, с потёртым прикладом и тёмными стволами. Она тяжёлая даже на вид.

— Дедово, — говорит бабушка. — Он охотился, пока был жив. Патроны вот, в коробке. — Она показывает на жестяную банку из-под печенья, закрытую крышкой. — Возьми. Деду оно ни к чему, а вам пригодится.

— Бабуль, мы же...

— Бери. Времена такие. — Она говорит серьёзно. — Лёша знает, как с этим обращаться. Но пусть и тебя научит.

Я принимаю ружьё двумя руками. Оно тяжелее, чем я думал, и пахнет смазкой, металлом и чем-то старым, пыльным.

— Не заряжено, — говорит бабушка. — Всё равно держи как заряженное. Дед так учил.

— Хорошо.

— Не «хорошо», а «слушаюсь», — улыбается она.

Я киваю, и она хлопает меня по плечу. Потом на секунду замирает, глядя на мою руку с ружьём, и вдруг говорит нерешительно:

— Сашенька...

— Бабуль?

— Что? — Она моргает. — Что я говорила?

— Вы меня называли Сашенькой.

— Да ну. — Она смеётся и машет рукой. — Перепутала. Это ты на дедова брата похож. Он тоже был Саша. Старая я, Тёма.

Но смех у неё какой-то слишком быстрый. Она отворачивается и принимается развязывать мешок, который уже завязан.

Мы выносим вещи. Отец укладывает их в багажник, ружьё в одеяле кладёт на заднее сиденье, рядом со мной. Бабушка садится спереди и пристёгивается, непривычно прямая и серьёзная. Перед тем как закрыть дверь, она вдруг останавливается и смотрит на дом.

— Я сейчас, — говорит она. — Минутку.

Она идёт к забору. Берёт с крыльца миску с остатками су-

па и ставит её на пенёк у окошка в заборе.

— Петя, — говорит она негромко. — Я уезжаю. Ненадолго. Я вернусь. Ты, пожалуйста, не уходи отсюда, ладно? Ешь, пока тёплое.

Пётр Семёнович не отвечает. Он смотрит поверх её головы, на дом, и вдруг, медленно, как будто вспоминая движение, поднимает руку, не к ней, а просто в воздух, и опускает.

— Хороший мой, — шепчет бабушка. — Хороший.

Она возвращается к машине, садится и закрывает дверь. Лицо у неё мокрое, и она не вытирает его.

Отец заводит мотор, и мы выезжаем. Я оборачиваюсь, и последнее, что вижу: голубой забор, дом с зелёными ставнями, а у соседского забора высокую фигуру в вязаной жилетке. Он стоит, прижав ладони к доскам.

Он стоит так, пока мы не поворачиваем за угол.

Глава 11

В четверг отец будит меня в семь утра.

— Вставай. Едем.

— Куда?

— Увидишь.

Я сажусь на кровати и тру лицо. Отец стоит в дверях, одетый и собранный, и держит в руках то самое ружьё в одеяле. Вид у него напряжённый.

— Лёш, — раздаётся из коридора мамин голос. — Только осторожно.

— Люда, это же просто...

— Я знаю, что это. Я говорю: осторожно.

Он кивает, и мама уходит на кухню. Через минуту она появляется снова, с термосом и свёртком бутербродов, и молча вручает всё мне. Даша стоит рядом, в пижаме с динозаврами, и смотрит на ружьё, как на живое существо.

— Можно мне с вами?

— Нельзя, — отвечает отец.

— Я в лагере в тире пять раз из десяти попала.

— Молодец. В следующий раз.

— Это значит «нет».

— Это значит «в следующий раз».

Она вздыхает с таким видом, будто ей отказали в чём-то очень важном, и мы с отцом идём вниз.

Мы выезжаем на «Калине», потому что отцовская машина забита вещами бабушки. Ружьё лежит на заднем сиденье, под одеялом, а рядом плотно закрытая банка с патронами. Едем в сторону гаражного кооператива, потом дальше, мимо последнего ряда ржавых ворот, по грунтовке, которая упирается в заросший откос.

— Тут был карьер, — говорит отец. — Песок брали. Лет десять как закрыли. Здесь никого нет, и в городе выстрелов не слышно.

Карьер оказывается большой чашей, изрезанной оврагами, с песчаными стенами и редкой жёсткой травой по краям. В центре стоит ржавая бочка, вся в дырах, как будто по ней уже стреляли до нас. Мы паркуемся наверху, и отец достаёт из багажника коробку с пустыми консервными банками, парой бутылок и куском картона.

— Расставь, — говорит он, протягивая мне банки. — Метров на двадцать.

Я спускаюсь и расставляю банки на бочке и на кусках кирпича. Когда возвращаюсь, отец уже раскладывает на капоте одеяло, а на нём ружьё. Оно выглядит на тёмной ткани слишком большим, слишком серьёзным. Рядом аккуратно стоит банка из-под печенья.

— Сначала правила, — говорит он. — Три. Запомни, потом повторишь.

Я киваю.

— Первое. Всегда считай, что оно заряжено. Даже если

сам разряжал. Даже если оно пять лет стояло в шкафу. Всегда.

— Понял.

— Второе. Ствол никогда не смотрит на то, что ты не хочешь убить. Ни на меня, ни на себя, ни на машину. Только в сторону цели или в землю.

— Понял.

— Третье. Палец вне скобы, пока не решил стрелять. На спуск кладёшь, только когда видишь цель и готов выстрелить. Не раньше.

Я повторяю про себя. Отец смотрит на меня прямо, и взгляд у него такой, какого я не помню: напряжённый, внимательный, почти пугающий.

— Теперь повтори.

Я повторяю. Он слушает, потом коротко кивает.

— Ладно. Берём.

Он берёт ружьё и показывает мне, как его держать, как переламявать стволы, чтобы заглянуть внутрь и убедиться, что они пусты. Я смотрю на тёмные трубки, на тонкую полосу света, которая пробивается сквозь них.

— Пусто. Закрываем. — Он защёлкивает ружьё. — Теперь предохранитель. Найди.

Я принимаю ружьё в руки. Оно тяжёлое, холодное и неудобное, как чужая вещь. Я поворачиваю его то одной стороной, то другой, ищу на боку, у спусковой скобы, и ничего не нахожу.

— Ты где его ищешь? — спрашивает отец.

— На боку.

— Это не пистолет.

— А где?

Он показывает пальцем на узкую шейку сверху, там, где приклад переходит в ружьё.

— Вот. Ползунок. Видишь?

Я вижу маленький выступ размером с ноготь.

— Сдвинешь в одну сторону — предохранитель включён, обратно — выключен. Смотри не по памяти, а глазами. Каждый раз. Привыкай.

— Понял.

— Не «понял», а покажи.

Ядвигаю ползунок туда-сюда: щелчок, ещё один. Он снова кивает.

Потом отец достаёт из банки два патрона и протягивает мне.

— Заряжай. По одному в каждый ствол.

Руки у меня почему-то дрожат. Я ломаю ружьё, как он показывал, и пытаюсь вставить патрон в левый ствол. Он не идёт.

— Сначала проверь, как ты его держишь, — подсказывает отец. — Латунной частью к себе.

— Он латунной частью к себе.

— Нет, ты его суёшь задом наперёд.

Я переворачиваю патрон, и он входит с тихим щелчком.

Второй идёт легче.

— Закрываем. Только не хлопай, это не дверь.

Я закрываю. Ружьё издаёт сухой, короткий звук, и у меня на секунду пересыхает во рту.

Отец достаёт из кармана две пары строительных наушников, одну надевает сам, вторую протягивает мне.

— Теперь ставь в плечо. Плотнее, не бойся. Если приклад будет болтаться, он тебя сам ударит.

Я прижимаю приклад к плечу. Он давит, как деревянная доска. Отец поправляет мне локоть, сдвигает руку на цевьё, слегка надавливает на загривок, чтобы я не втягивал голову.

— Цель. Банка слева. Снимай предохранитель. Только когда уверен.

Я вижу банку. Она кажется очень маленькой, очень далёкой, точкой, в которую надо попасть. Палец ложится на спуск. Сердце колотится так громко, что я уверен: он слышит даже через наушники.

— Давай.

Я нажимаю.

Грохот. Не просто громкий, а физический: он бьёт в грудь, в зубы, в плечо. Приклад толкает меня так, что я пячусь на шаг назад. Где-то над карьером вскрикивает птица. Я стою, оглушённый, и смотрю на банку: она стоит на месте.

— Мимо, — говорит отец спокойно. — Но стрелял.

— Я попал куда-то?

— В куст. Вон, видишь, ветка дрожит. Куст убит.

Я нервно смеюсь. Отец не улыбается, но краешек его рта чуть дёргается.

— Ещё раз. Второй ствол.

Я целюсь, и снова выстрел, снова боль в плече, снова грохот. И снова банка стоит.

— Опять мимо.

— Я старался.

— Ты глаза закрыл.

— Не закрывал.

— Закрыл. Я видел. Ты в момент выстрела зажмуришься. Так нельзя. Надо смотреть на цель до конца.

— Я не нарочно.

— Знаю. Но надо научиться.

Он достаёт ещё два патрона. Я перезаряжаю, и руки уже не дрожат, а просто деревенеют. Вторая попытка, третья, четвёртая. С каждым выстрелом плечо ноет всё сильнее, в ушах гудит, а банки стоят нетронутые, как заколдованные.

— Ты дёргаешься, — говорит отец, и голос у него становится жёстче. — Спуск надо нажимать плавно, а не рвать.

— Я плавно.

— Нет. Ты рвёшь. Ещё раз.

Пятая, шестая — банка по-прежнему на месте.

— Да сколько можно? — вдруг рявкает отец.

Я вздрагиваю и опускаю ружьё стволом в землю. Он стоит рядом, красный, со сжатыми кулаками, и смотрит на меня так, как никогда не смотрел.

— Я тебе всё показал! Всё объяснил! Что тебе ещё надо? Просто целься и стреляй! Ты что, как баба?

— Пап...

— Не «пап»! — Голос у него срывается. — Ты не понимаешь? Если ты сейчас не научишься... Если ты в нужный момент не сможешь... — Он осекается, отворачивается, делает пару шагов в сторону и застывает, сжимая руками виски.

Тишина, только где-то далеко лает собака. Я стою с ружьём в руках, плечо горит, в ушах гудит, и мне хочется провалиться сквозь землю.

Через минуту отец оборачивается. Лицо у него другое: серое, постаревшее, виноватое.

— Прости, — говорит он тихо. — Я не должен был так.

— Ничего.

— Нет, не ничего. — Он подходит, берёт у меня ружьё, ставит его на капот. — Знаешь, как меня отец учил? Мне было двенадцать. Он повёл меня в лес и дал ружьё. Я промахнулся. Он ничего не сказал. Молча забрал у меня ружьё и пошёл домой, а я за ним. И потом три дня он со мной не разговаривал. Три дня. — Он горько усмехается. — Я себе тогда пообещал: с моим ребёнком такого не будет. Никогда.

— И?

— И вот. — Он разводит руками. — Стою и ору.

— Пап...

— Дай договорить. — Он садится на бампер «Калины» и смотрит на свои руки. — Я просто боюсь, Тёма. Не знаю, что

будет, а вы у меня все: мать, Дашка, Валентина Фёдоровна, ты. И мне кажется, что, если я тебя сейчас не научу, потом будет поздно. А я ору. Как дурак.

Я сажусь рядом на холодный, твёрдый, неудобный бампер. Мы сидим молча, глядя на банки внизу.

— Ты не как дурак, — говорю я наконец. — Ты как отец.

Он смотрит на меня, и в уголках глаз у него собираются морщины.

— Это одно и то же, — говорит он. — Но спасибо.

Мы сидим ещё минуту, потом он хлопает меня по колену и встаёт.

— Давай ещё раз. Я не буду орать. Обещаю.

— А если я опять промахнусь?

— Тогда промахнёшься. — Он пожимает плечами. — Никто сразу не попадает. Я сам первый год только по бутылкам и попадал, и то с десяти шагов. Просто стреляй и смотри. Не закрывай глаза. Вот и всё.

Я беру ружьё и сам заряжаю два патрона. Руки на этот раз слушаются. Отец стоит рядом, не вмешиваясь. Только в какой-то момент он тихо говорит:

— Дыши.

Я вдыхаю, выдыхаю и беру банку на мушку. Мир сужается до маленькой жестяной точки на ржавой бочке. Палец ложится на спуск. Я не зажмуриваюсь.

Выстрел.

Банка подпрыгивает и падает с бочки, звеня, как коло-

кольчик.

— Попал! — выдыхаю я, не веря глазам. — Пап, я попал!

— Вижу. — Он улыбается по-настоящему, широко, так, что вся усталость на лице расходуется. — Банка мертва.

— Я её убил.

— Убил. Поздравляю. — Он хлопает меня по плечу так, что я чуть не роняю ружьё. — Теперь вторая банка, справа.

Второй выстрел уходит в песок. Но я только смеюсь, и отец смеётся вместе со мной, и мы стоим в этой огромной яме, посреди песка и ржавых бочек, двое мужчин с ружьём, и мне вдруг кажется, что лучшего дня у нас давно не было.

К полудню плечо превращается в сплошной синяк. Из двадцати выстрелов я попадаю в цель три раза. Отец говорит, что для первого раза неплохо, и добавляет, что куст мы тоже спасли от окончательной гибели. Мы собираем гильзы, складываем банки в коробку, вытираем ружьё тряпкой.

— Разряжаешь так, — говорит отец, показывая мне ещё раз. — Ломаешь, вынимаешь гильзы, заглядываешь в стволы. Каждый раз, даже если уверен. Потом заворачиваешь в одеяло. Дома оно стоит в шкафу, разряженное. Патроны отдельно, в другом месте. Всегда. Понял?

— Понял.

— Не «понял»...

— Покажу, — говорю я. — Я покажу.

Он смотрит на меня секунду, потом кивает и открывает дверь машины.

— Матери про то, что я орал, не говори.

— Не скажу.

— Хорошо.

Мы едем домой. На перекрёстке, где давно не работает светофор, отец вдруг бросает на меня взгляд, быстро и неловко, и снова смотрит на дорогу.

— Спасибо, что приехал, — говорит он негромко.

— Куда?

— Вообще. Спасибо.

Я не знаю, что ответить, и просто киваю. Мы едем дальше, и всю дорогу у меня гудит в ушах и болит плечо, и мне почему-то очень хорошо.

Глава 12

В пятницу вечером гаснет свет.

Мы сидим на кухне, мама моет посуду, Даша что-то рассказывает про урок литературы, и вдруг холодильник вздыхает и замолкает, а лампа над столом мигает и гаснет. В окнах дома напротив тоже темнеет. На секунду во дворе становится слышно, как лает чья-то собака.

— Опять, — говорит мама.

— Что значит «опять»? — спрашивает Даша.

— Сегодня днём уже мигало.

Я не помню, чтобы мигало. Но мама замечает такие вещи раньше всех.

Она достаёт из ящика свечи, зажигает одну, ставит на блюдце. Лицо у неё в этом свете становится мягче и моложе. Даша хлопает в ладоши:

— Романтика!

— Романтика, — повторяет бабушка из угла кухни, где сидит с вязаньем. Пальцы у неё двигаются сами, не глядя. — А я вам говорила: свечи надо покупать впрок.

— Ба, ты нам не говорила.

— Людочка, подай соль.

Я вижу, как Даша замирает. «Людочка» — это мама. Даша смотрит на меня, я качаю головой. Она осторожно подаёт бабушке солонку.

— Вот спасибо, — довольно говорит бабушка и тут же поправляется: — Дашенька. Ой, старая, всё путаю.

Мама отворачивается к плите и делает вид, что не слышит.

Даша достаёт телефон, и мама в этот раз ничего ей не говорит. Света нет, а интернет ещё есть: у вышек, говорит Даша, свои аккумуляторы, на сколько-то хватит. Она листает чат, и я сажусь рядом.

Кто-то выложил видео из Москвы. Снято на телефон из окна вагона: станция метро, пустая платформа, на ней двое в белых комбинезонах и масках, больше никого. Подпись: «Сокольники, сегодня». Следующее видео — с вокзала, кажется, новосибирского: военные в оцеплении, за железной сеткой толпа с чемоданами, кто-то кричит в камеру, слов не разобрать.

— Это не у нас, — говорит Даша. — Это там.

Она говорит «там» так, будто Москва и Новосибирск всё это время были местом, куда можно уехать, если здесь станет совсем плохо. А теперь нет.

Третье видео не грузится: колёсико крутится и крутится, интернет еле живой. Даша держит телефон перед собой ещё минуту и кладёт его экраном вниз.

Отца нет дома. Его ещё утром вызвали в сервис, где он последние дни чинит машины скорой помощи. «Работы там много, спать не придётся», — сказал он и ушёл в шесть. Звонит он в десять, когда мы уже сидим при двух свечах.

— У вас свет есть?

— Нет.

— И у нас нет. Авария на подстанции. Говорят, надолго.

— В трубке трещит, голос уходит куда-то в сторону. — Воду набирайте. Сейчас, пока давление есть. Все ёмкости, какие найдёте.

— Хорошо.

— Тёма. Присмотри за ними.

— Присмотрю.

Мы с Дашей до полуночи таскаем воду из крана в вёдра, кастрюли, бутылки и даже в ванну. Соседи делают то же самое: в подъезде грохочут вёдра, хлопают двери. Из-за двери Геннадия слышен его голос: «Светка, ты куда столько кастрюль?» — и тихий ответ: «Вдруг пригодится».

В субботу утром воды нет.

Кран кашляет, плюётся ржавой струйкой и замолкает. Нина Андреевна стучит в двери по всему подъезду. Через полчаса во дворе собирается тот же народ, что и на первом собрании. На лицах уже не любопытство, а усталая растерянность.

— Колодец, — объявляет Нина Андреевна. Бублик у неё на руках громко и поддерживающе твякает. — Есть колодец на соседней улице, у частных домов. Я говорила с хозяевами. Они разрешили брать воду, но очередь придётся соблюдать.

— Какую ещё очередь? — недовольно спрашивает кто-то.

— По номерам квартир. Сегодня с первой по десятую,

завтра с одиннадцатой по двадцатую. Каждой квартире по четыре ведра за раз. Список готов. Даша составила за полчаса.

Даша, стоящая рядом, скромно опускает глаза, и я вижу, как у неё краснеют уши.

— А если у меня ребёнок? — спрашивает Катя, прижимая к себе малыша.

— Тогда приходите в любое время. Без очереди.

Люди одобрительно гудят. Нина Андреевна поднимает палец.

— И ещё. Нам нужно, чтобы кто-нибудь разбирался в технике. Генератор.

Все поворачиваются ко мне.

Я не сразу понимаю почему. Потом вспоминаю: на первом собрании отец сказал, что он механик. Я его сын. По логике подъезда, значит, и я что-то понимаю.

— У вас есть генератор? — спрашиваю я.

— В кладовке. От мужа остался. Он лет двадцать назад купил его на дачу, пользовался от силы раза три. — Она пожимает плечами. — Я пробовала завести, не получилось.

— Ну так сходи, глянь, — подаёт голос Геннадий. — Ты же сын механика.

— Я не механик.

— А что, яблоко от яблони далеко падает?

Все смеются. Я краснею, как Даша.

— Сначала вода, потом генератор, — говорит Нина Ан-

дреевна. — Пойдёмте.

Колодец стоит в конце соседней улицы, во дворе деревянного дома, за низким забором. Над ним старый ворот с цепью и ведром. Рядом на лавочке сидит пожилой мужчина в кепке, хозяин, и строго следит за порядком. Очередь тянется метров на двадцать. Люди стоят молча, переминаясь, с ведрами, бидонами и канистрами. Дети жмутся к матерям.

Мы с Дашей берём по ведру и встаём в хвост.

— Тём, — говорит она тихо. — Смотри, у той тётки ведро с дыркой. Видишь, течёт? Она всё равно несёт.

— Может, оно просто мокрое.

— Нет, оно течёт. Вон дорожка на земле. — Она кивает вперёд. — А вон тот дядька с двумя бидонами. В графике он записан как «дядя с бидонами». Фамилию я не знаю.

Я смеюсь, и несколько человек оборачиваются. Даша, довольная, подталкивает меня плечом.

Очередь движется медленно, и мы стоим больше часа. Я смотрю, как люди подходят к колодцу, как хозяин в кепке молча вращает ворот, как звенит цепь, как ведро показывается над краем, мокрое, тёмное, тяжёлое. Люди тянутся к нему с благодарностью и каким-то странным стыдом, будто просят милостыню.

— Тём, — говорит Даша ещё тише. — А если это всё надолго?

— Не знаю.

— Я хочу, чтобы не надолго.

— Я тоже.

— А если надолго, ты будешь меня учить стрелять?

Я смотрю на неё. Ей пятнадцать, у неё конопушки на носу, которые она ненавидит, и косичка, в которую она заплела волосы утром.

— Отец сказал «в следующий раз».

— Он всегда так говорит. А потом оказывается «никогда».

— Не всегда.

— Почти всегда.

Я не нахожу, что ответить, и просто обнимаю её за плечи. Она не вырывается, как обычно, а прижимается боком и стоит молча.

К одиннадцати мы приносим домой по два ведра. Мама сразу берёт их у порога и ставит в ванну. Бабушка сидит у окна, смотрит во двор и ничего не говорит.

После обеда я иду к Нине Андреевне.

Она живёт на четвёртом этаже, в маленькой квартире с цветами на подоконнике и фотографиями на стенах: мужчина в очках, потом тот же мужчина с седой бородой, потом он же с мальчиком на плечах. В кладовке, за коробками, стоит что-то красное, размером с большую собаку, обёрнутое одеялом.

— Вот, — говорит Нина Андреевна. — Муж покупал. Говорил: если что, мы не пропадём.

Мы с Геннадием, который пришёл помочь, вытаскиваем эту штуку на лестницу, потом во двор. Генератор оказыва-

ется старым и пыльным, на раме с колёсиками, с красным баком, шнуром и кучей рычажков. Я сажусь на корточки и пытаюсь вспомнить хоть что-то.

— Ну? — спрашивает Геннадий. — Заводи.

— Сначала нужен бензин.

— Так заливай.

— Он у отца в гараже. Канистра.

Мы с Геннадием идём в гараж, возвращаемся с канистрой, и я, пролив немного на штаны, заливаю бензин в бак. Рядом толпятся любопытные: Валерий Павлович, Катя с Димой, бабушка Клава («Чего, чего?»), несколько детей. Даже Бублик подходит и недоверчиво нюхает мотор.

— Курить тут не вздумайте! — строго говорит Валерий Павлович, хотя курящих среди нас нет.

— Дёргай, — командует он потом.

Я хватаюсь за шнур, дёргаю.

Мотор кашляет раз, второй и затихает. Я дёргаю снова — опять кашель и опять тишина.

— Не заводится, — говорит кто-то.

— Сам вижу.

Третий раз, четвёртый, пятый. У меня уже болит плечо, то самое, ушибленное в карьере, и по спине течёт пот.

— Дай я, — предлагает Геннадий.

Он дёргает так, что чуть не вырывает шнур. Мотор молчит.

— Всё, — говорит он. — Сдох.

Я достаю телефон и набираю отца. Гудки идут долго, потом трубку берут.

— Да.

— Пап, это Тёма. Тут генератор. Не заводится.

— Какой?

— Дачный. Бензиновый. Красный, на колёсиках.

— Масло смотрел?

— Нет.

— Смотри. Щуп видишь? Достань, вытри, вставь, посмотри уровень.

Я нахожу щуп, вынимаю, вытираю тряпкой. Масло есть, тёмное, но в норме.

— В норме.

— Бензин свежий?

— Из твоей канистры.

— Хорошо. Заслонку закрыл? Воздушную?

— Какую?

— Рычажок рядом с воздушным фильтром. Должен стоять в положении «закрыто», пока мотор холодный.

Я нахожу рычажок, переставляю и дёргаю шнур. Мотор чихает, ловит, дрожит, гудит с минуту и глохнет.

— Почти, — говорю я. — Схватило и заглохло.

— Значит, залило. Свечу проверь.

Я замираю.

— Пап, свечу?

— Да. Вынь, посмотри. Какая она: сухая, чёрная, мокрая.

Помнишь, как я учил?

В трубке потрескивает, голос отца дробится.

— Помню. Я...

— Только осторожно. Свечной ключ... — Треск усиливается. — Тёма, связь пропадает. Если мокрая, просуши. Не торопись. Не...

Гудки.

Я стою с телефоном в руке и смотрю на экран. Связи нет, и все смотрят на меня.

— Что он сказал? — спрашивает Валерий Павлович.

— Свечу проверить.

— Ну так проверь.

Я киваю. Руки у меня почему-то дрожат, как на карьере. Я достаю из кармана куртки свечной ключ, который отец сунил мне после гаража («Пусть у тебя будет»), и присаживаюсь у мотора. Свечу я нахожу быстро: она похожа на ту, что в «Калине», только меньше. Снимаю колпачок, берусь за наконечник, как учил отец, надеваю ключ и поворачиваю.

Резьба сначала не поддаётся, потом идёт.

Свеча выходит наружу, и я подношу её к свету. Она чёрная и мокрая, по ней тонкой блестящей плёнкой стекает бензин.

— Залило, — говорю я вслух. — Мокрая.

— И что делать? — спрашивает Геннадий.

— Сушить.

Я вытираю свечу тряпкой насухо и кладу на кирпич.

Несколько раз прокручиваю шнур без свечи, и из отверстия брызгает бензиновая взвесь: лишнее выходит. Валерий Павлович отгоняет всех подальше. Потом мы ждём минут десять. Люди разбредаются и возвращаются. Дима приносит кружку воды, Катя качает ребёнка. Валерий Павлович поправляет очки и вполголоса ворчит про современную молодёжь.

Я смотрю на свечу и на двор. Вспоминаю отцовский голос в гараже. «Не торопись. Раньше ты всё делал быстро. А тут надо медленно». Я вдыхаю, выдыхаю.

— Готово, — говорю я наконец.

Вкручиваю свечу от руки, пока не пойдёт, надеваю колпачок и берусь за шнур.

— Давай, сынок, — говорит бабушка Клава, неожиданно чётко. — Давай.

Дёргаю.

Мотор ловит с первого раза.

Он гудит, трясётся, выплёвывает синий дымок, потом набирает обороты и начинает ровно, мощно работать. Над двором повисает густой, тёплый гул, и этот звук настолько живой, что у меня перехватывает дыхание.

— Работает! — орёт Геннадий.

Двор взрывается. Валерий Павлович подпрыгивает, как мальчишка, хватая кабель («Шесть метров! Тройники! Где мои тройники?!»), Катя смеётся и плачет одновременно, Дима жмёт мне руку обеими руками, дети визжат, Бублик захо-

дится лаем. Нина Андреевна стоит в стороне, прижав платок ко рту, и плечи у неё дрожат.

— Спасибо, — говорит она сквозь платок. — Спасибо, Артём.

— Я только свечу высушил.

— Это самое главное, — отвечает она.

Дальше всё делается быстро. Валерий Павлович с Геннадием тянут удлинитель от генератора в подъезд, на первый этаж. Нина Андреевна собирает по подъезду все удлинители, какие нашлись, Валерий Павлович соединяет их тройниками («Вот они, мои красавцы!»). К вечеру на первом этаже горит одна лампочка и работают три розетки: для телефонов, для чайника и для маленького холодильника с детскими лекарствами. График подключения Даша уже нарисовала на двери в виде комикса.

Мама подходит, пока я мою руки у ведра. Руки у меня чёрные по локоть, в масле и бензине. Она берёт мои ладони в свои, поворачивает, рассматривает.

— Господи, Тёма.

— Ничего. Отмоется.

— Откуда ты знаешь?

— Я механик.

— Ты не механик.

— Уже механик.

Она смеётся и бьёт меня по плечу мокрым полотенцем.

Отец возвращается без двадцати девять, усталый, серый,

с чёрными пятнами на куртке. Заходит во двор и останавливается. Генератор тихо гудит под навесом из старой плёнки, рядом сидит Бублик и сторожит. Отец слушает, наклонив голову, как врач у постели больного.

— Хорошо идёт, — говорит он.

— Пап, ты уже знаешь?

— Мать написала. — Он подходит ближе. — Сам завёл?

— Сам. Звонок оборвался, но я помнил про свечу. Она была мокрая. Я высушил.

Отец ничего не говорит, только смотрит на мои руки, всё ещё в чёрных разводах, потом на генератор, потом на меня. Протягивает ладонь, и я не сразу понимаю, чего он хочет, а потомжимаю её. Рука у него такая же чёрная, как моя, шершавая и тёплая.

— Нормально, — говорит он.

И больше ничего. Но кладёт вторую руку мне на плечо и держит дольше, чем нужно. Я чувствую, как у него дрожат пальцы.

Глава 13

В понедельник мы с отцом идём за хлебом.

Идём пешком: бензин бережём. Утро серое, и на улице тихо, как в воскресенье. Магазин рядом с домом снова работает, и на двери висит новая бумага, написанная от руки: «Выдача продуктов с 10 до 14. Строго по паспорту. Порядок обеспечивается охраной».

— Какой ещё охраной? — спрашивает отец, не ожидая ответа.

Очередь у входа тянется вдоль стены, человек тридцать. Люди стоят тихо и смотрят под ноги. Мы пристраиваемся в хвост, и сначала я не понимаю, что не так. Потом замечаю: никто не разговаривает. Раньше в очередях болтали, ругались, делились слухами. Сейчас все молчат, как в больничном коридоре.

У дверей стоят двое. Один огромный, лысый, с кулаками как гири, в расстёгнутой куртке и с резиновой дубинкой на ремне. Другой тощий, жилистый, с острым лицом и бегающими глазами. За поясом у него торчит что-то короткое, тёмное, завёрнутое в тряпку.

— Обрез, — тихо говорит отец, не поворачивая головы.
— Не смотри.

Я отвожу взгляд.

В стороне от двери, на перевёрнутом ящике из-под ово-

щей, сидит мужчина лет сорока, в чистой тёмной куртке, в аккуратных очках, с термосом у ног и книгой в мягкой обложке на колене. Он читает, время от времени переворачивая страницу и не поднимая головы, и вид у него такой, будто он пришёл не в магазин, а в читальный зал.

— Доброе утро, — говорит он вдруг мягким, приятным голосом, когда мы подходим к двери. Он закрывает книгу, прижав палец к странице. — Паспорт, пожалуйста. И, будьте добры, называйте адрес вслух. Мы ведём учёт.

— Зачем? — спрашивает отец.

— Чтобы знать, кого мы охраняем. — Он улыбается. — Это для вашей же безопасности.

Отец молча достаёт паспорт. Тощий парень берёт его, заглядывает, зачитывает:

— Корнилов Алексей Вячеславович. Адрес...

Он называет наш адрес. Человек на ящике достаёт из кармана блокнот и тщательно, неторопливо записывает его мелким почерком. Потом смотрит на меня.

— А вы?

— Корнилов Артём Алексеевич.

— Сын, — кивает он и записывает. — Спасибо. Проходите.

Лысый открывает дверь, и мы входим.

Внутри полутемно. Свет идёт только от нескольких ламп, подключённых к чему-то гудящему в подсобке. Полки опять почти пустые, но хлеб есть: несколько буханок на лотке у

кассы. Люди тихо двигаются вдоль стеллажей, берут по одной-две вещи, кладут в сумки и идут к выходу.

И вот там начинается то, что я понимаю не сразу.

У выхода стоят ещё трое. Они не кассиры, они просто стоят, смотрят в сумки и берут, ничего не говоря, как будто так заведено: каждую десятую вещь, а если вещей меньше десяти, то округляют в свою пользу. Люди отдают молча, с опущенными глазами. У некоторых дрожат руки.

— Это что? — шепчу я.

— Доля, — отвечает отец сквозь зубы. — Не лезь.

Мы берём две буханки хлеба и пакет соли, больше ничего нет, и идём к выходу. Тощий парень, тот, что зачитывал наши фамилии, уже стоит там. Он лениво заглядывает в сумку и достаёт одну буханку.

— Это нам.

— Мы заплатили, — говорит отец ровно.

— Мы тоже ваши буханки охраняем. Десятая часть. Налог на безопасность. Или хотите без охраны, млять?

— Десятая часть, — повторяет отец. — Из двух буханок.

— Округляем, — ухмыляется тощий.

Отец долго смотрит на него, потом разжимает пальцы и отпускает сумку.

— Хлеб, — говорит он. — Берите.

— Вот и умница.

Я стискиваю зубы. Мне кажется, что отец отдаёт не хлеб, а что-то другое, важное, и ему от этого больно так, что он едва

дышит. Мы идём к двери, и в этот момент я слышу крик.

У выхода стоит женщина лет тридцати, в светлой куртке, с девочкой пяти-шести лет, которая держится за её подол. В руках у женщины пакет с хлебом и банка сухого молока. Над ней нависает один из троих, рябой парень в кепке.

— Это нам, — говорит он и тянет банку.

— Это ребёнку. Пожалуйста. У неё...

— У всех дети.

— Верните! — Женщина вцепляется в банку. — Я заплатила! Это последняя!

— Млять, сказал же... — Он дёргает, толкает её в плечо. Женщина падает на колени, задевая девочку, та садится на пол и кричит тонко, по-звериному. Банка с глухим стуком катится по плитке.

Я не помню, как оказываюсь рядом.

Помню только, что отец хватает меня за рукав и шепчет: «Тёма, нет». Помню, что вырываюсь. Помню, как огромный лысый, тот самый, что стоял у входа, загораживает мне дорогу, широкий, как дверь, и поднимает дубинку.

— Куда? Сядь, пацан.

— Она с ребёнком. Вы...

— Сядь, говорю.

Он толкает меня ладонью в грудь. Я отшатываюсь, налетаю на стеллаж, и острый край полки проезжается по левому предплечью, сдирая кожу. Банки сыплются на пол, и я вдруг вспоминаю, как в карьере отец говорил: «Смотри на цель до

конца. Не закрывай глаза». Я не закрываю.

Я бью.

Не думая, не целясь, прямо, наотмашь, как бил когда-то в школе. Кулак врезается лысому в лицо с коротким мокрым хрустом, и кисть вспыхивает такой болью, что у меня темнеет в глазах. Лысый отшатывается, роняет дубинку, хватается за нос. Из-под его пальцев хлещет красное, быстро, густо, на куртку, на пол, на плитку.

У меня в ушах начинает звенеть.

Колени становятся ватными, рот наполняется привкусом монетки. Я смотрю на кровь, на его пальцы, на красные капли на белом кафеле, и мир отплывает куда-то в сторону. «Нет, — думаю я. — Только не сейчас. Только не здесь». Я хватаюсь за стеллаж.

— Млять! — ревьёт лысый. — Грач! Он мне нос сломал!

— Убью, сучёныш! — Тощий выхватывает из-за пояса тряпку, и в руке у него оказывается короткий тёмный ствол. — Стоять!

Отец оказывается передо мной. Он не бежит, не прыгает, просто вдруг стоит между мной и стволом, раскинув руки, спокойный и огромный.

— Убери, — говорит он негромко. — Парень глупость сделал. Давайте поговорим.

— Отойди, дядя...

— Убери оружие.

— Хватит, — раздаётся от двери.

Голос негромкий, мягкий, но тощий вздрагивает так, будто его хлестнули. Человек в очках уже стоит в зале, держа книгу, закрытую пальцем. Он не торопится, идёт между рядами спокойно, как по музею. Грач — так его называл лысый. Он подходит, смотрит на лысого, который стонет и вытирает нос рукавом, потом на тощего с обрезом.

— Убери, — повторяет он. Тощий неохотно прячет ствол за пояс. — Спасибо.

Он поворачивается ко мне.

Я стою, вцепившись в стеллаж, и пытаюсь не потерять сознание. Лицо у него совсем рядом, спокойное, внимательное, с тонкими морщинками у глаз. Пахнет от него чем-то чистым, хозяйственным мылом и чаем.

— Как вас зовут?

— Артём, — выдавливаю я.

— Артём Алексеевич Корнилов, — произносит он вслух, как читают строчку из блокнота. — Живёте с родителями, по тому же адресу. Я правильно запомнил?

— Да.

— Хорошо. — Он улыбается мягко, почти ласково. — Вы сегодня сделали глупость, Артём Алексеевич. Но красивую. Редко такое увидишь.

Он смотрит на отца.

— У вас хороший сын. Берегите его.

— Мы уйдём, — говорит отец.

— Конечно. Сегодня доли не берём. Хлеб возьмите. —

Грач кивает на сумку. Тощий молча кладёт буханку обратно. — Идите домой. И, Алексей Вячеславович... в следующий раз подумайте, прежде чем приходить. Здесь у нас порядок. Мы им дорожим.

Он поворачивается и возвращается к своему ящику, открывает книгу на том же месте и снова начинает читать, как будто ничего не случилось.

Лысый в углу всё ещё прижимает к лицу рукав, а в его глазах, над красной тканью, я вижу такую ненависть, что мне хочется спрятаться.

Женщина с девочкой уже поднялась. Она подхватывает банку с пола, прижимает дочь к себе и быстро идёт к выходу, не глядя ни на кого. У двери она оглядывается, и её взгляд встречается с моим. Она открывает рот, но ничего не говорит, только шепчет одними губами: «Спасибо». И исчезает.

Отец берёт меня под локоть.

— Идём, — говорит он очень тихо.

Мы выходим на улицу. Я держусь, пока мы не заворачиваем за угол. Потом ноги подгибаются, и я сажусь прямо на бордюр, опустив голову между коленями. Руки у меня трясутся. Правая кисть горит и уже начинает опухать, а на левом предплечье, там, где по нему проехал край полки, длинная ссадина, и из неё сочится кровь. Я стараюсь на неё не смотреть.

— Дыши, — говорит отец и садится рядом. Кладёт мне ладонь на затылок, как в детстве. — Вдох. Выдох. Считай.

— Раз. Два. Три.

— Правильно. Ещё.

Я считаю. Через минуту темнота отступает.

Мы сидим на бордюре, двое мужчин с двумя буханками хлеба и пакетом соли.

— Прости, — говорю я.

— За что?

— Ты же сказал не лезть.

— Сказал. — Он смотрит на свои руки. — А ты полез.

— Но она с ребёнком, пап. Он её толкнул. Прямо на ребёнка.

— Я видел.

— И ты хотел...

— Я считал до трёх, — говорит отец. — Я всегда считаю до трёх. И каждый раз думаю, что пора. А ты на двух двинулся. — Он вдруг усмехается устало, горько. — Если бы ты не бросился, я бы сам. Через секунду. Но тебе повезло: ты быстрее.

— Я его ударил.

— Ударил.

— Мне плохо.

— Знаю. После первого раза всегда плохо. Это правильно. Плохо и должно быть.

— А если однажды не будет?

— Тогда я начну за тебя бояться.

Мы возвращаемся домой молча. У подъезда нас встречает

Нина Андреевна с Бубликом, окидывает взглядом мою руку и поджигает губы.

— Хлеб принесли?

— Принесли.

— Значит, остальное неважно.

Дома мама первым делом хватает меня за левую руку, поворачивает её к окну и тут же берёт правую: кисть уже заметно распухла.

— Господи. Что случилось?

— Подрался, — отвечает отец. — С дураками.

— С какими дураками?

— С обычными.

Она смотрит на него долго, потом на меня. Молча уходит на кухню, возвращается с тазом холодной воды и полотенцем, садится рядом и принимается промывать ссадину на предплечье, осторожно, не говоря ни слова. Вода в тазу становится розовой. Потом она прикладывает мокрое полотенце к моей кисти. Я отворачиваюсь.

— Не смотри, — говорит она тихо. — Я сама.

Даша появляется в дверях, останавливается, широко раскрыв глаза.

— Ты кого-то ударил? По-настоящему?

— Да.

— Круто.

— Дарья! — одёргивает мама.

— Ну... ужасно, — поправляется Даша. И тут же, не вы-

держав, подходит и молча садится рядом, не касаясь меня. Но я чувствую её рядом, как чувствуют тепло от печки, и мне становится спокойнее. Мы сидим втроём: мама с полотенцем, Даша рядом, я и тазик с розовой водой.

Ночью я не сплю.

Лежу на кровати среди банок и коробок, смотрю в потолок и слушаю, как за стеной скрипит пол. Через некоторое время встаю и выхожу в коридор. На кухне горит одна свеча. Отец сидит за столом, перед ним чашка с остывшим чаем. Он не оборачивается.

— Не спится?

— Нет.

Я сажусь напротив.

— Он знает нашу фамилию, — говорит отец негромко, не поднимая глаз. — И адрес. Он всё записал. Он сидит на ящике и читает книгу, а сам записывает, кто где живёт. Понимаешь?

— Понимаю.

— Это страшнее, чем обрез.

Я киваю, и он поднимает на меня глаза. В свете свечи лицо у него кажется старше на десять лет.

— Я не говорю, что ты был неправ, — продолжает он. — Ты был прав. Но теперь нам надо быть осторожнее. Всем.

— Хорошо.

— И, Тёма... — Он на секунду замолкает. — Спасибо, что не закрыл глаза.

Я не сразу понимаю, о чём он. Потом вспоминаю карьер, банку на ржавой бочке, и у меня сдавливают горло.

Отец допивает холодный чай одним глотком, ставит чашку и встаёт.

— Иди спать.

Я иду. Но ещё долго лежу, смотрю в потолок и слышу, как в соседней комнате мама тихо о чём-то спрашивает, а отец так же тихо отвечает. Их голоса долго не стихают.

Глава 14

Бабушка меняется не сразу. Сначала по мелочам, так, что можно сделать вид, что не заметил.

Во вторник она не может найти слово. Сидит за столом, крутит в пальцах ложку и говорит: «Поддай мне эту... ну... для чая».

— Ложку? — подсказывает мама.

— Ложку. Конечно, ложку.

В среду она долго стоит в коридоре перед шкафом и спрашивает, где её платок, хотя платок на ней. В четверг ночью мы с Дашей слышим из кухни шорох. Бабушка стоит в темноте у окна, смотрит во двор и тихо говорит сама с собой: «Домой. Мне надо домой. Там куры не кормлены».

Мама каждый раз отвечает одинаково: ровно, ласково, как говорят с ребёнком. «Ты дома, мам. Ты у нас. Пойдём чай пить». Отец молчит, только после каждого такого случая уходит в комнату, закрывает за собой дверь и долго оттуда не выходит.

Даша держится дольше всех. Каждый вечер она садится рядом с бабушкой и читает ей вслух: сначала какие-то рассказы про деревню, потом сказки, которые бабушка когда-то читала ей сама. Бабушка слушает, улыбается, кивает в нужных местах.

— Хорошо читаешь, девочка, — говорит она в пятницу

вечером.

Даша замолкает на полуслове, потом тихо спрашивает:

— Ба, я тебя не утомила?

— Нет-нет. Читай. Мне нравится, как ты читаешь.

Даша читает дальше. Голос у неё ровный, только книжка в руках чуть дрожит.

В субботу утром всё случается за завтраком.

На кухне пахнет кашей. Мама разливает её по тарелкам, отец сидит с кружкой, я нарезаю хлеб, вернее, то, что от него осталось. Даша входит последней, ещё в пижаме, с растрёпанной косой, и сразу идёт к бабушке.

— Доброе утро, ба.

Бабушка поднимает на неё глаза. Улыбается вежливо, чуть растерянно, как улыбаются незнакомым людям в гостях.

— Здравствуйте, девочка. А вы чья?

Половник в маминой руке замирает над тарелкой.

— Ба, — говорит Даша. — Это я. Даша.

— Даша? — Бабушка задумчиво морщит лоб. — Дашенька у нас маленькая. Вот такая. — Она показывает рукой на уровень стола. — С бантиками. А вы большая уже.

— Ба...

— Вы, наверное, соседская. Ничего, ничего, садитесь, кашу будем.

Даша стоит, не шевелясь. Лицо у неё становится белым и странно взрослым. Потом она разворачивается и выходит

из кухни. Не бежит, не хлопает дверью, просто выходит, и слышно, как в коридоре тихо закрывается дверь её комнаты.

Отец поднимается со стула, но мама качает головой, и он садится обратно.

Бабушка с любопытством оглядывает нас. Её взгляд скользит по отцу, по мне, останавливается на маме.

— А вы тоже здесь живёте? — спрашивает она.

Тишина.

Я смотрю на маму. Она стоит с половником в руке, неподвижная, прямая, и я вижу, как у неё белеют пальцы на ручке. Потом она аккуратно, не торопясь, ставит половник на подставку.

— Живу, мам, — говорит она ровно. — Я Люда.

— Люда... — Бабушка улыбается светло, чуть мечтательно. — У меня дочка Люда. Вы на неё похожи. Такая же серьёзная.

— Конечно, — отвечает мама. — Давай чай пить.

Она наливает бабушке чай, и рука у неё не дрожит, ни разу, ни на секунду. Она ставит чашку, придвигает сахарницу, поправляет салфетку, потом садится и смотрит в свою тарелку. Спина у неё прямая, как доска.

Она не плачет.

Я знаю свою маму. Она плакала, когда у отца в прошлом году умер дядя, плакала над фильмами, над собачками на открытках, плакала, когда я съезжал, думая, что я не вижу. Сейчас она не плачет. Это страшнее любых слёз.

После завтрака мама берёт аптечку и говорит:

— Мам, давай мы тебе повязку сменим. Уже три дня одна и та же.

— Не трогай, — говорит бабушка.

— Мам...

— Не надо. — Голос у неё вдруг становится тонким и испуганным. Она прячет левую руку под стол, прижимает к себе. — Не надо, не надо. Это моё.

Мы с отцом переглядываемся.

— Валентина Фёдоровна, — мягко говорит отец. — Давайте я помогу. Будет быстро.

— Ты кто?

— Лёша. Зять ваш.

— А-а. — Она смотрит на него долго, недоверчиво. Потом медленно, как будто сдавшись, достаёт руку из-под стола и кладёт на колени. — Только осторожно.

Мама садится рядом, берёт её руку в ладони и начинает разматывать бинт, серый, тугой, засохший, слой за слоем. Я пытаюсь отвернуться, но не могу.

Последний слой присох к коже, и мама смачивает его водой, потом осторожно отлепляет. Бабушка не двигается, только дыхание у неё становится прерывистым.

Под бинтом, на предплечье, чуть выше запястья, я вижу укус.

Это не царапина. Это полукруг глубоких ям, словно кто-то прижал к руке штамп из зубов: сверху ряд, снизу ряд. Края

у них чёрные, между ними жёлтая корка, а вокруг кожа вздулась и посинела. Рана не заживает, она словно застыла на полпути, и от неё идёт слабый, сладковатый запах, от которого меня мутит.

У меня в глазах темнеет, с краёв, и я хватаюсь за край стола. Раз, два, три.

Мама ничего не говорит. Она смотрит на руку так, как смотрят на письмо, которое боялись открыть.

— Мам, — произносит она наконец, тихо. — Кто это сделал?

Бабушка смотрит на свою руку, потом на маму.

— Упала, — говорит она. — О крыжовник.

— Мам, это не крыжовник.

— Крыжовник. Он колючий, зараза.

— Валентина Фёдоровна, — говорит отец, и голос у него хриплый. — Это не крыжовник.

Бабушка вдруг тихо, тоненько всхлипывает.

— Я не помню, — шепчет она. — Я не помню, как. Я упала. Не ругайте меня, пожалуйста.

И мама, не отпуская её руки, подаётся вперёд и обнимает её за плечи, прижимает к себе. Говорит что-то негромко, ласково, и бабушка постепенно успокаивается и затихает.

Позже, когда бабушка засыпает на диване в гостиной, накрытая пледом, а новая повязка лежит на её руке белой полоской, мы сидим на кухне втроём: мама, отец и я. Даша так и не вышла из своей комнаты, а мы не стали её торопить.

— Это укус, — говорит отец.

— Нет, — отвечает мама.

— Люда, я видел.

— Нет.

— Тёма. — Отец поворачивается ко мне. — Ты ведь тоже видел.

Я молчу, потом говорю то, что должен был сказать давно.

— Я видел такое. Две недели назад, во дворе моего старого дома. Старик, который сидел на лавочке, тот, из первого подъезда, он укусил дочь за руку. Когда она пыталась его увести. Потом она спрятала руку, когда приехала полиция. Никому не сказала.

— Ты мне не рассказывал.

— Я не знал, что это важно.

— Что за старик?

— Николай Григорьевич. Он тоже... Он тоже забывал. Всё забывал.

Отец закрывает лицо ладонью.

— Петя, — говорит он глухо. — Это Петя. Он её укусил.

— Не знаем, — упрямо отвечает мама.

— Мы знаем, Люда. Он стоял у забора, я видел, как она его кормила. Я видел его руку на доске. — Он убирает ладонь, и лицо у него серое. — Я видел и промолчал. Позволил ей к нему ходить.

— Ты не мог её остановить.

— Мог. Мог запретить. Мог заколотить калитку.

— Тогда бы она вылезла в окно.

Отец ничего не отвечает. Мама складывает руки на столе.

— Нужно позвонить, — говорит он наконец, тише. — По тому номеру из памятки. Сто двенадцать. Пусть приедут. Её посмотрят.

— Нет.

— Люда...

— Нет. — Она поднимает на него глаза, и я вижу в них то, чего никогда раньше не видел: холодную твёрдую решимость. — Они её заберут. Я слышала, что там делают. Туда привозят, и оттуда не выпускают. Я не отдам её.

— А если это заразно?

— Если заразно, мы уже заразились. Мы с ней десять дней в одной квартире, из одной посуды едим.

Он молчит.

— Я не отдам, — повторяет мама. — Она моя мать. Если ей нужно умереть, пусть умрёт дома. Среди своих.

— Люда.

— Не надо. Я не буду плакать, Лёша. Если я заплачу, она решит, что случилось что-то страшное. А она и так напугана.

Отец долго смотрит на неё, потом протягивает руку через стол и берёт её ладонь в свою.

— Хорошо, — говорит он. — Не позвоним. Пока.

— Пока, — соглашается мама.

— Но правила будут. Её посуда отдельно. Руки моем после каждого раза. И Дашу с ней одну не оставляем.

— Хорошо.

— И, Тёма, — он смотрит на меня, — ты никому не говоришь. Ни Нине Андреевне, ни Геннадия. Никому.

— Не скажу.

Теперь я понимаю жену старика-шахматиста из моего старого дома, которая просила никому не рассказывать. И Ларису, и всех, кто молчит. Они молчат не от трусости: они не могут отдать тех, кого любят.

Даша выходит из комнаты только к вечеру. Глаза у неё красные, лицо опухшее. Я нахожу её на лестнице между этажами: она сидит на ступеньке, обхватив колени руками, и смотрит на стену.

Я сажусь рядом, на ступеньку ниже.

— Она не помнит меня, — говорит Даша, не поворачивая головы.

— Помнит. Просто не всегда.

— Нет. Она помнит меня маленькой. С бантиками. А такую не помнит. — Она сглатывает. — Я не хочу, чтобы она меня забыла, Тём.

— Я знаю.

— Я хочу, чтобы она помнила, что я выросла. Что я теперь могу читать ей сама. Что я большая.

— Она знает.

— Откуда?

— Потому что ты ей читаешь. Она не знает, как тебя зовут, но она знает, как ты читаешь. Она сказала: «Мне нра-

вится, как ты читаешь».

Даша молчит, потом медленно, двумя пальцами, берёт меня за рукав и держит: не прижимается, не плачет, просто держит. Мы сидим так минут десять, пока наверху не хлопает чья-то дверь.

Ночью я встаю попить воды и вижу полоску света под дверью гостиной.

Дверь приоткрыта, и я заглядываю в щель. Бабушка лежит на диване с открытыми глазами и смотрит в потолок. Рядом на стуле сидит мама и расчёсывает ей седые волосы старой деревянной расчёской, медленно, бережно, прядь за прядью, как бабушка, наверное, когда-то расчёсывала её саму.

— Хорошая у меня дочка, — вдруг тихо говорит бабушка, глядя на потолок. — Людочка. Умная. Красивая.

— Спасибо, мам, — отвечает мама.

— Ты на неё похожа.

— Знаю.

Мама наклоняется, целует её в лоб, потом отворачивается к окну и закрывает рот ладонью. Плечи у неё мелко-мелко дрожат, но она не издаёт ни звука.

Я тихо отхожу от двери и ложусь, так и не попив воды.

Глава 15

В воскресенье отец прикручивает к двери гостиной щеколду.

Делает это молча, днём, пока бабушка спит. Достает из коробки отвёртку, щеколду и шурупы, замеряет, отмечает карандашом, и всё это с таким видом, будто чинит обычную дверь в обычной квартире. Мама стоит в коридоре, прислонившись спиной к стене, и смотрит на его руки. Он вкручивает последний шуруп, проверяет, как ходит задвижка, и вздыхает.

— На ночь, — говорит он. — Только на ночь. Чтобы не ушла.

— Я знаю, Лёша.

— Я не хочу.

— Я знаю.

Вечером, когда мама ведёт бабушку укладываться, та вдруг останавливается в дверях гостиной, смотрит на щеколду и кивает.

— Правильно, — говорит она. — Правильно, Лёша. Так надо.

Мама отворачивается и уходит на кухню. Позже, ночью, задвижка щёлкает коротко и сухо, как маленький выстрел.

Я просыпаюсь в третьем часу ночи, потому что слышу своё имя.

— Тёма... Тёмушка...

Голос тихий, ровный, идёт откуда-то из-за стены. Я лежу в темноте и некоторое время не понимаю, снится ли мне это. Потом встаю, натягиваю футболку и выхожу в коридор. Квартира спит: из спальни родителей доносится храп отца, у Даши в комнате тихо.

— Артёмка, — снова зовёт голос. Теперь он совсем рядом, за дверью гостиной. — Ты там? Подойди, родной.

Я подхожу и прикладываю ладонь к двери.

— Бабуль?

— Открой.

— Папа сказал...

— Я знаю, что сказал. — В её голосе слышится что-то прежнее, ясное, давно мне знакомое, и от этого у меня сжимается сердце. — Открой, Артёмка. Мне надо с тобой поговорить. Пока я ещё я.

Я стою секунд десять. Потом поднимаю щеколду.

Бабушка сидит на диване, в длинной ночной рубашке, с аккуратно причёсанными седыми волосами. Руки лежат на коленях, левая в белой повязке. В свете луны из окна лицо у неё светлое и спокойное, и, когда она поднимает на меня глаза, я вижу в них то, чего не видел уже неделю: узнавание.

— Вот ты и пришёл, — говорит она. — Садись. Свет не зажигай.

Я сажусь на край дивана. Она берёт меня за руку своей правой, сухой и тёплой.

— Ты помнишь, как мы с тобой в огороде морковь собирали? Тебе лет пять было. Ты нашёл самую большую и принёс мне, как самое дорогое. А она была вся в земле и корявая.

— Помню.

— Ты сказал: «Бабуль, это самая красивая морковка на свете».

— Я так сказал?

— Сказал. — Она тихо смеётся. — Дед потом всю зиму показывал её гостям. Она у нас в погребе лежала, засохла вся. А он всё равно показывал.

Я сжимаю её пальцы. Они лёгкие, как птичьи кости.

— Бабуль, ты сейчас... ты помнишь, что с тобой?

— Помню, Артёмка. Пока помню. — Она вздыхает. — Знаешь, как это бывает? Как будто окно открыли, и в комнату на минуту влетел воздух. Я знаю, что опять закроют. Поэтому тороплюсь.

— Что тебе надо?

— Рассказать. — Она смотрит на свою повязку. — Я должна была сказать вам раньше. Но боялась. Думала: скажу, и Люду расстрою, и меня заберут, и больше я домой не вернусь.

Я молчу.

— Это Петя, — говорит она просто. — Он меня укусил. Не думай, что со зла. Он не помнил, кто я. Я принесла ему суп, а он схватил меня за руку, и вдруг лицо у него стало...

пустое. Совсем. Как будто он ушёл и оставил только тело. А тело испугалось и укусило.

— Когда это было?

— В конце августа. За два дня до того воскресенья, когда мы все собрались у Люды. — Она сжимает мою руку крепче. — Я в тот же вечер всё поняла. Я слышала по телевизору, что люди теряют память: забывают, где живут, перестают узнавать родных, не помнят даже себя. Знала, что так бывает. Но я решила: пройдёт. Перевяжу, и пройдёт.

— Почему ты не сказала?

— Потому что я старая дура, Артёмка. — В голосе у неё звучит усмешка, горькая и ласковая. — Потому что я не хотела, чтобы вы смотрели на меня так, как сейчас смотрите. Как на больную. Как на ту, которую нужно запереть.

Мне хочется возразить, но я не нахожу слов.

— Платок тот помнишь? — спрашивает она. — Клетчатый.

— Помню.

— Я его в мешок сунула, когда собиралась. Он на дне лежит. Сожги его. Не знаю почему, но мне кажется, это важно. Петя рассказывал, что у того парня была замотана рука и он всё время улыбался, а глаза были какие-то пустые. Я думаю, он уже был такой, как я сейчас. Только не знал.

— Хорошо.

— И ещё. — Она замолкает на секунду, и я чувствую, как у неё дрожит рука. — Дашке потом отдай. Вот это.

Она медленно стаскивает с безымянного пальца правой руки тонкое золотое кольцо. Оно сходит с трудом, оставляя белую полоску на коже, и она кладёт его мне в ладонь.

— Дед мне его надел сорок девять лет назад. Я с ним никогда не расставалась. А теперь ему лучше быть у неё. Пусть, когда вырастет и станет не так больно, знает, что бабушка её любила.

— Бабуль, не надо.

— Надо. Я не успею потом.

Я сжимаю кольцо в кулаке и прячу его в карман.

— Знаешь, чего я боюсь, Тёма? — говорит она тихо, глядя в окно. — Не забыть вас. Нет. Забыть я как раз не боюсь, это придёт само, и мне будет всё равно. Я боюсь другого. Что вы запомните меня такой.

— Мы не...

— Запомните. Люди помнят последнее. Всю жизнь я была вам и бабушкой, и матерью, пекла пироги, вязала носки, а запомните то, как я не узнала Дашу. Как смотрела пустыми глазами. Как... — она запинается, — как, может быть, буду выглядеть дальше.

— Бабуль.

— Я хочу, чтобы вы помнили морковку. — Она поворачивается ко мне, и на глазах у неё блестят слёзы. — Вот ту, корявую. Самую красивую на свете. Обещай мне.

— Обещаю.

— Хорошо. — Она кивает и вытирает щёки ладонью. —

А теперь слушай: самое тяжёлое. Если я стану как Петя... если станет совсем плохо... не жалейте меня. Меня тогда уже не будет. Жалейте себя: вам потом с этим жить. А я своё отжила, и хорошо отжила.

— Не говори так.

— Я говорю как есть, милый. Скажи отцу: пусть сделает всё, как надо, когда придёт время. Пусть не мучает ни себя, ни меня. Дедово ружьё в шкафу. Лёша знает.

У меня перехватывает горло. Я пытаюсь что-то сказать, но не могу.

— И ещё одно. — Бабушка берёт меня за подбородок, как тогда, за пирогами, и смотрит мне в лицо. — Не запирай меня, Артёмка. Дверь сегодня не запирай. Я знаю, что так надо, Лёша прав. Но мне страшно в закрытой комнате. Мне страшно умереть в закрытой комнате. Пусть будет щёлочка. Пусть я слышу, как вы ходите.

— Папа...

— Папа спит. Он ничего не узнает. — Она улыбается. — Я не уйду. Куда я пойду ночью? Просто оставь дверь открытой. Я долго смотрю на неё, потом киваю.

— Хорошо.

— Спасибо, родной. — Она отпускает мой подбородок и откидывается на подушку. — Я так устала.

— Спи.

— Сейчас. Посиди ещё чуть-чуть.

Я сижу, и лунный свет медленно ползёт по ковру. Она бе-

рёт мою руку в обе ладони, и дыхание у неё становится ровным и медленным. Потом она вдруг говорит сонно, почти шёпотом:

— Петя там один. Он не поест, если я не принесу.

— Бабуль, Пети здесь нет. Ты у нас.

— Ага. Конечно. — Она закрывает глаза. — Я знаю.

Я остаюсь рядом, не знаю, сколько проходит времени. Голова тяжелеет, веки слипаются. Я пробую держаться, но усталость последних недель наваливается, как мокрое одеяло. Последнее, что я помню: мягкий свет луны на подушке, ровное дыхание бабушки и её рука в моей.

Просыпаюсь от тихого звука. Щелчок.

Входная дверь. Я вскакиваю, не понимая, где нахожусь. Я сидел на краю дивана, привалившись к спинке, спина затекла, рука онемела. За окном светает. На диване никого нет: плед сложен аккуратным квадратом, подушка взбита.

— Бабуль? — шепчу я.

Тишина.

Я выскакиваю в коридор. Входная дверь приоткрыта, на пол падает полоска серого света с лестничной клетки. На вешалке нет её халата, на коврике нет её ботишков.

— Папа! — кричу я. — Папа!

Из спальни выбегает отец, в майке и трусах, с лицом человека, которого выдернули из сна, следом мама, за ней Даша.

— Что?

— Бабушка... Она ушла.

Мама первая понимает. Она бросается в гостиную, осматривает диван, плед, подушку, потом выбегает в коридор и смотрит на открытую дверь. Лицо у неё становится серым.

— Ты открыл? — спрашивает отец тихо.

— Да.

— Ты...

— Она попросила. Сказала, что ей страшно в закрытой комнате. Я думал... я сел рядом и заснул.

Отец долго смотрит на меня, потом резко, коротко выдыхает, как будто его ударили, и молча начинает одеваться.

В кармане у меня лежит бабушкино кольцо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.